

Алла боссарт

ХОЛТЕРА



А. БИЛГЕЖО



Алла БоссагТ

ХОЛЕРА

Алла БоссарТ

ХОЛДѢРА

РОМАН

ПОВЕСТИ



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ

СТРАШНО ЧИТАТЬ НОВУЮ КНИГУ АЛЛЫ БОССАРТ – ВРОДЕ БЫ ПРИТЧЕВУЮ, А МЕСТАМИ И ПАРОДИЙНУЮ, – КОГДА НА ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ ВЫЯВЛЕНО НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ ХОЛЕРЫ, В ОДЕССЕ ПАНИЧЕСКИ БОЯТСЯ ДИЗЕНТЕРИИ, А В СЕВАСТОПОЛЕ ЦЕЛЫЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОТРАВИЛСЯ НЕИЗВЕСТНО ЧЕМ. БОССАРТ, УВЕРЕН Я, ПИСАЛА СВОЙ ПАРАФРАЗ «ЧУМЫ» КАМЮ НА СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ МАТЕРИАЛЕ РАДИ ТЕХ МЕТАФИЗИЧЕСКИХ, МЕТАФОРИЧЕСКИХ И САТИРИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЕТ ТЕМА. А ВЫЛИЛСЯ ЕЕ ФИРМЕННЫЙ ГОРЬКО-СОЛЕННЫЙ ГРОТЕСК В РЕАЛИЗМ ТАКОЙ СИЛЫ И ТОЧНОСТИ, ЧТО У ЧИТАТЕЛЯ ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЮТ.

ЭТОТ РОМАН НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧНО НАПИСАН – ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ТОЙ МЕРОЙ ТОЧНОСТИ, КОГДА ДИАГНОЗ ПЕРЕХОДИТ В ПРОРОЧЕСТВО.

Дмитрий Быков

ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО УЗНАВАЕМО: И БОЛЬНИЧКИ С КАРАТЕЛЯМИ ОТ МЕДИЦИНЫ, И КОНЦЛАГЕРЬ С ВОХРОЙ НАШЕЙ БЕССМЕРТНОЙ. УЗНАВАЕМЫ И ХАРАКТЕРЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ ЕСТЬ НАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ. НА КРОМЕШНОЙ ФАКТУРЕ СМЕЛЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ АВТОР СМЕЛО И ВЕСЕЛО ПОСТРОИЛ ИСТОРИЮ ПРО НАШУ ЖИЗНЬ. В ЭТОМ – ЕГО УМНЫЙ ОПТИМИЗМ, АДЕКВАТНЫЙ, КАК Я ЕГО ПОНИМАЮ, ОПТИМИЗМУ ЖИЗНИ ВООБЩЕ. В ТОТАЛЬНОМ СМРАДЕ – ОЗОН ДЕЙСТВИЯ. РАСПАД ПРЕОДОЛЕН. И КАКАЯ РЕДКОСТЬ – ЛЮДИ ПОБЕДИЛИ НЕЛЮДЕЙ. НЕ ПРО ХОЛЕРУ ЭТА «ХОЛЕРА», А ПРО ВЫЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЕНА ПОТряСЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ АЛЛА БОССАРТ НАШЛА ТОЧНУЮ МЕТАФОРУ ЭПИДЕМИИ.

Вадим Абдрашитов

ЗАПАХ... ЗАПАХ ПРИСУТСТВУЕТ В ЭТОМ ТЕКСТЕ, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ НЕЧАСТО. ЧУДЕСНАЯ ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ ИЗ ГРОТЕСКОВОЙ САТИРЫ, ОБНАЖЕННОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ЖИЗНЕННЫХ КОЛЛИЗИЙ И АРОМАТА НЕИЗБЫВНОЙ ПЕЧАЛИ. ОТДЕЛЬНЫЙ ПАРАГРАФ – ОБОЖАЕМЫЕ МНОЮ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКИ. ЖЕСТКАЯ МУЖСКАЯ РУКА, НОЛЬ СЛЮНЕЙ И ЖАЛОСТИ КО ВСЕМ НАМ-И-ВАМ-СВОЛОЧАМ. ЭТО ТАЛАНТЛИВО И ВЫСОКО В САМОМ ВЕРТИКАЛЬНОМ СМЫСЛЕ. ЖАЛЬ, ПРАВДА, ЧТО КОРОТКО, И ОТТОГО НЕКОТОРЫМ ТИПАЖНЫМ ПЕРСОНАЖАМ НЕ ВПОЛНЕ ХВАТИЛО МЕСТА В ЭТОМ ЧУДНОМ, НО ТЕСНОВАТОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ОДНАКО, КАК УЧАТ МУДРЕЦЫ, ИЗ-ЗА СТОЛА ЛУЧШЕ ВСТАВАТЬ С ЛЕГКИМ ЧУВСТВОМ ГОЛОДА, ЧЕМ ПРЕСЫЩЕНИЯ...

Григорий Рязжский

ТОТ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ, ЧТО Я ЯВЛЯЮСЬ МУЖЕМ АЛЛЫ БОССАРТ, НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДОСТОИНСТВАХ ДАННОЙ КНИЖКИ, ГДЕ ТОНКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА СОЧЕТАЕТСЯ С ЛИХО ЗАКРУЧЕННЫМИ СЮЖЕТАМИ, ДЕКОРИРОВАННЫМИ ЯРКОЙ СЛОВЕСНОЙ ТКАНЬЮ.

Игорь Иртенев



Охраняется законодательством РФ
о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Художественное оформление
Е.Ю. Шурлаповой

Боссарт, А.Б.
Б85 Холера: роман, повести / Алла Боссарт. — М.: ЗАО
Издательство Центрполиграф, 2014. — 319 с.

ISBN 978-5-227-05085-4

Толик — интеллигентный мужчина, тридцати девяти лет, холостой — попал в инфекционную больницу. Казалось бы, событие неприятное, но обыденное. Однако ждали Толика там события ужасные, в той же мере великие...

Фирменный горько-соленый гротеск Аллы Боссарт — известного журналиста и прозаика — вылился в реализм такой силы и точности, что у читателя волосы встанут дыбом.

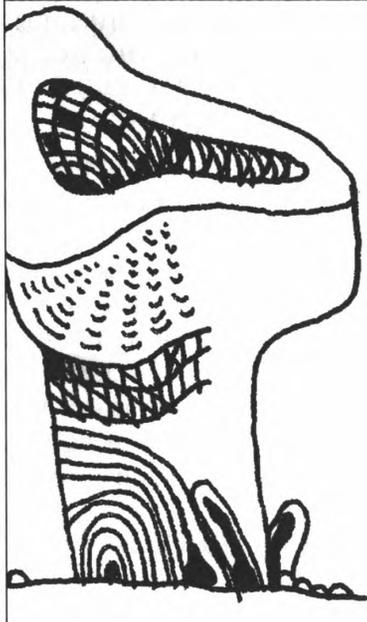
УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Боссарт А.Б., текст, 2014
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство
Центрполиграф», 2014
© ЗАО «Издательство
Центрполиграф», 2014

ISBN 978-5-227-05085-4

ХОЛЕРА

РОМАН



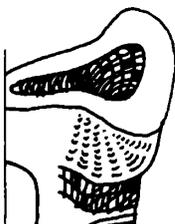
ДА, НЕСОМНЕННО, В БЕДСТВИИ БЫЛА СВОЯ
ДОЛЯ АБСТРАКЦИИ, БЫЛО В НЕМ И ЧТО-ТО
НЕРЕАЛЬНОЕ. НО КОГДА АБСТРАКЦИЯ
НОРОВИТ ВАС УБИТЬ, ПРИХОДИТСЯ ЗАНЯТЬСЯ
ЭТОЙ АБСТРАКЦИЕЙ.

Альбер Камю. Чума

1

Допустим, у интеллигентного мужчины тридцати девяти лет, с высшим образованием, холостого жизнелюба — страшнейший понос. Пусть даже он сопровождается высокой температурой тела, градусов 38 с копейками. Но согласитесь, это не повод обзванивать всю Москву и кричать: у Толика вентиль сорвало плюс жар, нужна скорая! Именно так поступил близкий друг этого пресловутого Толика, такой же балбес и холостяк, форменный душка, некий Кузя. Кузей он назывался не сокращенно от имени Кузьма, имя было у него обычное, Ваня, или Витя, или Вова, не имеет значения. А фамилия — Кузнецов. Тоже самая обычная и распространенная в мире фамилия. Тот же Смит — ровно то же самое.

Не подумайте, что эти холостяки Кузя и Толик вместе жили, будучи, например, какими-нибудь этими... Боже упаси. Девочек у обоих было немерено (правда, обтекаемый, как дельфин, Кузя призна-



вался, что с женщиной чувствует себя пресс-папье), и в прошлом оба были женаты, и какие-то дети бегали там и сям, называя папами совсем других дядек. Просто Кузя и Толик дружили еще со школы, и в настоящий печальный момент Кузя очнулся после вчерашнего, среди омерзительного бардака, мокрых окурков, грязной обуви вперемешку с грязными же тарелками, носками и прочей дрянью, и никак не мог пробиться в сортир, куда звала его природа.

— Эй, Толян, ты чего там, с документами работаешь? — крикнул Кузя, приплясывая на заплыванном полу. Толян ответил стоном, исполненным муки.

Короче, несло Анатолия по кочкам, и столбик ртути неприятно полз вверх.

И Кузя пошел названивать всем знакомым девушкам и женщинам и подбивал их вызвать Толику карету скорой помощи. А девушки логично отвечали: ну вот и вызови, телефон 03. Не такова была одна там Алиса. Хотя и она спросила — почему, мол, я, а не ты? Потому, ответил Кузя, что голос у меня с перепоя хриплый, не внушает доверия. А ты — женщина приличная, с тобой другой разговор. И Алиса, польщенная, согласилась.

И это было началом Ужасных Событий, потрясших инфекционную больницу имени Т.Х. Майбороды.

Заметим кстати, чисто к слову: этот Майборода отнюдь не состоял ни в каком родстве с капитаном пехотного полка Майбородой, отъявленным мерзавцем и провокатором, донесшим на сво-

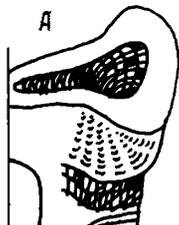
его начальника Пестеля и других декабристов. Тарас Харитонович Майборода был достойнейший субъект, дальняя родня одноименного композитора, и именем его назвали эту гадкую, можно даже крепче выразиться — сраную лечебницу, где лежали мученики желудочно-кишечного тракта (сокращенно ЖКТ), — учитывая доблесть и заслуги, проявленные указанным Тарасом Майбородой в ликвидации холеры в городе Одессе в 1970, если не ошибаюсь, году. Другой вопрос, почему славное имя присвоили московской, а не одесской больнице. Ну, может, одесситам было неприятно вспоминать тяжелый эпизод в истории города, связанный с чудовищным состоянием канализации. А москвичам со стороны — вроде ничего.

Я даю эту не имеющую прямого отношения к делу справку к тому, что никогда не надо думать, что кого-то обойдет соответствующая чаша. Когда в Москве ухватили случай чумы, где-нибудь в Элисте тоже плевали: а-а, где Москва, а где мы. И строили шахматный центр. А следовало бы травить крыс и прочих разносчиков. Это я на будущее.

Короче. Сердобольная Алиса быстренько связалась со службой, называемой в народе «неотложкой», и сообщила, что у мужчины понос и температура. «Вы кто ему?» — спросили ее ни к селу ни к городу. «Друг!» — честно ответила Алиса. «Проживаете вместе?» Ну какое их дело? «Неподалеку», — опять-таки сказала Алиса чистую правду.

11

Е Р Д



— Кровь в стуле?

— В смысле... В каком стуле? — Алиса вообще не совсем еще проснулась, и зачем было сбивать ее с толку? Совершенно незачем.

— Будет врач, — тяжело вздохнула неотложка и повесила трубку.

Алиса, неизвестно чему радуясь и даже гордясь, что так ловко выполнила задание Кузи, быстренько почистила зубы и помчалась на такси к Толику, чтобы как бы всем распорядиться и быть за старшего. И буквально непосредственно в дверях столкнулась с двумя плотными санитарями, которые под руки вели вяло обвисшего Толика с перекошенной рожой к так называемой «карете», поскольку жил на первом этаже.

— Ага, — сказал Толик, и челюсть его свело от дикой ярости, — милосердная ты моя... Ну, погоди, дождешься у меня, гадина...

Пустые, конечно, угрозы, но все же неприятно, даже оскорбительно, и вообще — за что?

— Чего это он? — растерянно отнеслась Алиса к Кузе, праздно подпиравшему толстым боком дверной косяк и скорбно следившему (довольно веселыми и хитрыми глазками), как Толика загружают в белый микроавтобус с крестами на видных местах, как у новых русских.

— Чего? — усмехнулся паразит Кузя. — А ты как хотела? Пристроила человека в инфекционку... Эпидемия ж кругом. Ты чего, телевизор не смотришь? Дизентерия, а то и чего похуже. Ну а этот, сама знаешь, жрет, как свинья, все подряд. Селедки нахавался тухлой... Траванулся элемен-

тарно. И чего мы, сами не справились бы? Сварила бы киселя, рису... Не знаешь, как понос лечат?

Алиса во все глаза глядела на глумливого Кузю, сцепившего свои сосиски на огромном пузе.

— Ну знаешь... Это уж ни в какие ворота... Кто всю Москву на уши поставил, скотина?

— Эх, Алиска! — Кузя мечтательно оглядел синеглазую подружку. — Хорошая ты девка, гулять бы с тобой вплоть до совместного хозяйства... Да уж больно проста. Надо ж головой тоже думать. Мало ли кто что сказал, к тому ж люди мы пьющие, или ты не в курсе? Да мне и в голову не пришло, что его повяжут.

В общем, так или иначе, но оказался (проклинаемая несчастную Алиску) Анатолий Игнатьевич Чибис, по профессии программист, по национальности ориентировочно белорус, по убеждениям либерал, по характеру анархист — в инфекционной больнице имени Т.Х. Майбороды, где ждали его, как уже было сказано, События Ужасные, но в той же мере и Великие.

Алиска, надо отдать ей должное, приходила под окна вонючей больницы чуть не каждый день, и Толик, уже довольно миролюбиво, показывал ей из окна кулак. Мужики, облепившие то же окно, весело ржали и спускали вниз веревки, на которые посетители привязывали кто завернутую в газету (чтоб не выскользнула) бутылку водки, кто банку с домашними огурцами, Алиса же — рулоны туалетной бумаги, на которой писала длинные покаянные письма в стихах. Официально передавать передачи запрещалось, потому что контакт пациентов с внешним миром считался вреден и пагубен для обеих сторон.

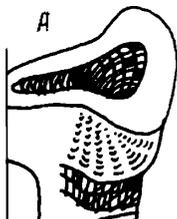
Вообще в больнице имени Майбороды царили странные порядки. Например, пациентам запрещалось пользоваться туалетом *непосредственно* (из соображений нераспространения заразы). Каждому было выдано судно (из тех страшных, травматичных железных орудий, вроде глубоких сковородок, которыми неплохо бы отovarить по черепу

их изобретателя). С персональным судном и личной подтиркой мужчины разных возрастов и условий пробирались, стараясь не привлекать к себе внимания среднего персонала в виде молодых медсестер, в сортир, где вынуждены были пристраиваться на этом жутком приборе, кое-как справлять нужду и, что интересно, опорожнять горшок в унитаз, откуда содержимое со всеми своими сине-гнойными палочками естественным путем уносилось в общегородскую канализацию!

Оставим за скобками абсурдность композиции. Но какова изощренность унижения мужского достоинства! (Мне неизвестно, что творилось в женском отделении, об этом я никакой информации не имею, а врать и выдумывать не в моих правилах.) Классово разнородный, но равно измученный диареей контингент наверняка включал в себя людей духовно развитых, воспитанных, интеллектуальных. Отцы семейств и молодые бизнесмены, рационализаторы и те же прорабы, учителя и водители автобусов, продавцы, инженеры, моряки, священнослужители и даже гомосексуалисты — все они оказались беспомощны перед лицом загаженного нужника. Никто не мог оградить свое privasy. Никто не мог по-человечески осуществить простейший, но при этом интимнейший акт дефекации. Все: от укладчика кабеля, дворника и могильщика до скрипача и психотерапевта — были растоптаны системой, которая первейшую жизненную потребность превратила в мучительную и позорную попытку.

15

Е Р А



Конечно, далеко не все эти люди так прогрессивно трактовали свое положение. (Все же дает себя знать авторское (мое) прошлое крупного публициста демократического профиля.) И мало у кого возникали позитивные идеи. К тому же воля народонаселения больницы была подавлена идиотским (и от этого особенно несокрушимым) законом неизвестного происхождения, а именно находиться в заведении не меньше сорока дней, даже будучи совершенно здоровым, при сугубо отрицательном анализе на кишечную палочку дизентерийного генеза. То есть чувство обреченности владело массами. Иные впадали в депрессию и по нескольку дней бойкотировали так называемый «кабинет задумчивости». Большинство же снимало напряжение приветами с воли на веревочке. То есть вообще никакая идея еще близко этими массами не овладела, почему и не приходится говорить о ее материальной силе.

Пожалуй, один Толик как человек глубоко оппозиционный всему, находясь в активной переписке с прощенной Алисой и паразитом Кузей, высказывал кое-какие пассионарные соображения, но и то главным образом шутейного характера.

«Здорово, старичок, и ты, поганка, не кашляй! — писал Анатолий. — Праздновали вчера с товарищами пятидневку моего заточения. И еще ряда господ, а именно дяди Степы-пожарника, чеченского прапорщика Пети с отстреленным ухом (я зову его, сами понимаете, Пьер, он временно обижается) и теноришки одного, обдриставшегося прямо на кон-

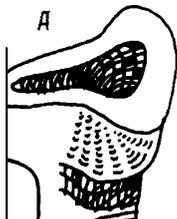
церте. Гуляли в честь результатов посевов: говно наше чистое, как слеза (все же гадюка ты, Алисия, как уже было сказано). То есть мы здоровы, чего и вам желаем, но гнить мне тут еще пять недель почти. Зачем — умом не понять. Хочу отсюда подорвать, но это вряд ли: охрана, как в Гуантанама. Остается поднять какой-нибудь русский бунт, желательнее бессмысленный и беспощадный, повязать всю эту сволочь во главе с гнидой-главврачом (нам с тобой, Кузя, не снилось, как люди могут квасить в рабочее время) и запереть в сортире, предварительно залив его говнищем. И выйти на площадь с суднами наперевес, распевая «Марсельезу». Я, как особо одаренный вокалист (все музыкальные произведения Толик исполнял на мотив «Калина красная, калина вызрела». — *Примеч. авт.*), поведу толпу засранцев. Если тенор Кукушкин останется жив в неравной борьбе, возьму его вторым голосом. Примите, и прочее... (хрен его знает, что это значит). Целую в лицо, ваш узник совести. *P. S.* Очень кстати звонила опять моя тетка Сима из Хайфы, спрашивала, не надумал ли я ехать. Удивлялась, чего я так ржу».

Пока сердечные друзья, стоя под окнами больницы, читали Чибисова ума холодные рассуждения, Петя по естественной кличке Безухий незаметно выглянул (не утратив десантного навыка) в коридор и просигналил: атас, мол, пацаны. Пацаны порскнули от окна и расселись-разлеглись на койках.

Главврач, громила с сизым лицом, мутными глазками и на удивление тонким голосом, как на-

17

Е Р А



зло, носил фамилию Касторский (в чем меня могут упрекнуть люди с литературным вкусом, но тайная связь человеческого имени, фамилии и его же судьбы, будь он хоть трижды литературный персонаж, мало зависит от чьей-нибудь воли. Ошибка думать, что автор по своей прихоти нарекает героя, как родитель ребенка. О нет. Все эти мелочи заложены в генах произведения, которое где-то там уже, несомненно, написано, а нам только любезно надиктовывается, скобки закрываются).

Этот Платон Касторский с шумом ввалился в палату, и ветер из отвисшей, как челюсть, фрамуги вздул грязноватые полы его халата, точно крылья падшего ангела.

— Кто разрешил открывать окна? — пискнул Касторский.

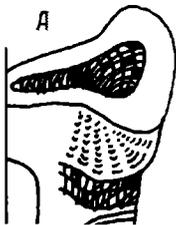
Сразу несколько человек из скучающей, по обыкновению, свиты бросились подпрыгивать и даже полезли на стулья в попытках задрать разошедшийся иллюминатор, однако безуспешно. Только коренное население палаты знало секрет местных коммуникационных отверстий, которые наряду со всем зданием не ремонтировались, почитай, лет сорок, если не все шестьдесят.

Надо заметить, что больница, названная впоследствии именем Т.Х. Майбороды, была построена на средства купца Алексева (не Станиславского, а который выстроил и знаменитую Кащенко, ныне справедливо имени Алексева) как госпиталь для инвалидов Первой мировой войны. В 1939 году тайно перепрофилирована в шарашку,

где самая передовая научная мысль из числа заключенных работала над секретным оружием. А уж при Хрущеве вновь сделалась больницей со всеми вытекающими из ее истории особенностями. И хотя решетки с окон были сняты, сами окна, не открывавшиеся лет пятнадцать, как бы вросли рамами в стены. В верхнюю часть высоченных старинных проемов врезали фрамуги с веревками на блоках. Но блоки вскоре заржавели, расшатались и вконец искрошились, как в России происходит почему-то с разнообразными объектами повсеместно, и находчивый персонал приспособил для несложной операции проветривания палку с металлическими рожками типа ухвата. Впрочем, рама, поднятая этой кочергой, не держалась, поскольку не на чем, и, многократно падая, вышла из строя безвозвратно. Поэтому решением администрации забили фрамуги гвоздями намертво. Вонь стояла в палатах невыносимая, и как-то раз в 1986 году один умелец из легких дизентерийных гвозди выдернул и навесил крюки (конкретно в палате, где мыкался нынче Чибис, остальные проветривались из коридора). Крюки и их петли маскировались в специальных пазах в профиле рамы, о которых если не знать, ни открыть, ни закрыть окно невозможно. Сами же пацаны легко манипулировали своим в полном смысле слова окном в мир с помощью все тех же почтовых веревочек, концами крепившихся к описанным крюкам и так же ловко спрятанными в трещинах рам. Сказание о крюках передавалось из уст в уста, из поколения в поколение, и никто не настучал! Вот пример

19

Е Р А



истинной солидарности, базирующейся на общем горе.

Поэтому, само собой, попытки закрытия окна из желания выслужиться перед начальством не увенчались и не могли увенчаться успехом. И это пример другого социального феномена: в поисках облегчения страданий люди (да и те же крысы, известный эффект лабиринта) неуклонно умнеют, иные же, кто эти страдания им обеспечивает, тупы, как идеологи всякого геноцида. Поскольку не имеют позитивной идеи!

Так что, сами видите, как ни крути, а от теории пассионарности никуда нам не деваться, даже в таком захудалом месте, как говенная инфекционка имени доктора Тараса Майбороды.

Итак, Платон Касторский, взяв на заметку непорядок в палате, откуда берут начало не раз упомянутые Ужасные События, пропищал:

— Кто Чибисов?

— Чибис, — поправил Анатолий, поднявшись с койки во весь свой тощий и сутулый двухметровый рост.

— Что Чибис? — не понял с бодуна главнюк.

— Фамилия моя Чибис. — Толик как бы в доказательство повернулся к Касторскому в профиль и пальцем указал на свой тонкий и загнутый, как клюв, нос.

— Странная фамилия. — Касторский нахмурился и оглядел свиту. — Это что за фамилия такая?

— Белорусская, — рапортовал Толян.

— А, ну это ничего. А я подумал...

— Нет. — Чибис был тверд. — Белорус я.
— Белоруссия, будем говорить, наши друзья.
— И партнеры, — тенором заметил с места Кукушкин.

— Вас не спрашивают. Вы кто?

— Кукушкин Эдуард Васильевич, солист филармонии. Русский.

— Птичник какой-то... — пожал плечами Касторский, и свита дружно захихикала. — Так вот, Чибисов... в смысле... ну да, белорус... А что такой длинный? Баскетболист?

— А их двое! — крикнул кто-то из угла.

Касторский медленно и грозно, как бык, развернулся на голос:

— Кто это сказал?

Молчание.

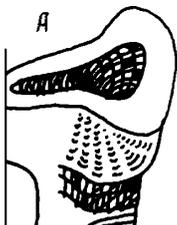
— Зря шутите, господа вонючки. Скоро будет не до шуток. Ты, Чибисов, с посевом своим знакомился? Сядь, не маячь.

— Ну да... — Толик осторожно опустился на продавленную койку. — Я в курсе... Там все нормально, вы б меня отпустили, Платон Егорыч...

— Нормального мало, Чибисов...

— Да Чибис он, командир! — не выдержал особо отличившийся в горных районах Ичкерии Петя Безухий, человек большого личного мужества и прямолинейности.

— Это кто? — осведомился Касторский у адьютантуры. Ему что-то зашептали в оба уха, крупных, как у нетопыря, и торчащих особенно бестактно в присутствии некомплектного Петра. Платон без интереса кивал и буркнул наконец: — А вот мы



переведем этого героя в холерное крыло и поглядим на его геройство...

Больные догадывались, что никакого «холерного крыла» в Майборде не существует, легенда о нем бытовала десятилетия, но никто еще не встречал человека, побывавшего в этом адском месте. Выспрашивали у сестричек, у молодых ординаторов, но персонал загадочно улыбался и молчал. Щуплая, как килька, санитарка Зухра Харошмухаммедовна, раз и навсегда обиженная на всех за то, что ее, по понятным причинам, не зовут по имени-отчеству, любила визгливо проорочить, небрежно мотая тряпкой по линолеуму: «Твоя поганая срать, моя убирать, будет тебе холера на крыло, чтоб тебе висе кишки тама рузуровало!» — «А что, Зухра, — спрашивала поганая срать, — это правда, есть такое крыло?» — «А ты думал! — злорадно скалила золотые зубы старушонка. — Висю вашу холеру тама запрут на вот тако-ой замок и на кирюки за жопу сраную повесют!» В общем, с серьезными свидетелями беседовать не приходилось.

Однако угроза холерного крыла, отсека, баракка, ну то есть какой-то специализированной резервации, еще намного худшей, чем инфекционка общего режима, витала в зловонном воздухе больницы, и холеры этой пресловутой даже самые стойкие люди, подобные ветерану Чечни, боялись, как чумы, извиняюсь за неуместный каламбур.

Добившись таким циничным образом тишины, Касторский продолжал:

— А на тебя, Чибис, кстати о холере, поступило уточнение посева... Ко всему птичнику тоже имеет отношение, никто не застрахован.

Толя, насколько возможно широко, раскрыл мелкие глазки и привстал, схватившись за никелированную спинку кровати.

— Видишь, и дегенерация организма ярко выражена. Пить хочешь? Ну и все. Значить, слушайте все. У больного Чибиса в кале найден вибрион биовара Эль-Тор, вызывающий, будем говорить, холеру Бенгал.

— Это еще что за херня? — испуганно спросил пожарник дядя Степа.

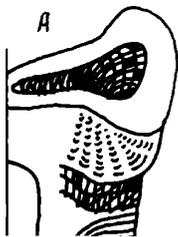
— Выразаться тут не надо при больных. А значить эта холера в целом то же самое, что и нормальная холера, от подозрения на которую в настоящий период времени вас никто не освобождал. И тебя, герой, — Касторский мстительно глянул на остаток мочки Петра, — в том числе.

И Платон Егорович, заложив руки за спину, стал прохаживаться по палате, тусклым голосом проводя страшный ликбез среди народа. Речь его невольно усыпляла, но сон этого коллективного разума рождал поистине чудовищ.

— Возбудитель холеры, — бубнил Касторский, — холерный вибрион, представлен двумя биоварами: биовар собственно холеры и Эль-Тор, что мы имеем в случае Чибисова... Чибиса. Оба биовара сходны по всяким свойствам и подвижны благодаря своему жгутику. Значить, ты, Чибис, с твоим, будем говорить, бессимптомным течением являешься в настоящий период времени источником ин-

23

Е Р Я



фекции. Хотя и не так активным, как больные с тяжелым течением, которые доходят до десяти литров испражнений в сутки.

— Эк! — крикнул, не удержался пожарник. — Ведро говна! Это ж удобрения сколько!

— В то же время, — Касторский бросил на дядю Степу, насколько мог, испепеляющий взгляд, — больные с бессимптомным и стертым течением холеры, при отсутствии своевременной диагностики, выделяют возбудитель в среду длительный период времени. Другой раз и пожизненно. Поэтому очень хорошо, что мы ухватили тебя, Чибис, за твою, будем говорить, задницу вовремя.

Чибис сидел, обхватив кудлатую голову руками, и раскачивался, как еврей на молитве.

— И чего теперь с ним? В холерное крыло?

— Все вопросы потом. Следует знать всем, что способ заражения холерой — фекально-оральный. В смысле через кал и через рот.

— Как это кал через рот? — в ужасе спросил Кукушкин. Свита за спиной Касторского тихо сползала по стенке.

— Солист? — Лектор приостановил свой метроном. — Вот разинешь рот во время арии, а туда и...

— Ты, Эдик, Сорокина почитай! — вякнул умник Сева Энгельс, по прозвищу Карлсон, сторож платной стоянки, на которую ловко пристроил и собственный автомобильчик KIA. Теперь уже проснулись и ржали все, за исключением Чибиса. А Касторский, как говорящий кот, уже вышагивал со своей песней дальше.

— Пути передачи — водный и контактно-бытовой. Водный путь имеет, значить, решающее значение. При этом не только питье воды, но и мытье продуктов является, будем говорить, благоприятным для заразы. Особо опасна рыба, креветка, мидия, устрица и прочий гад, способный накапливать и сохранять холерные вибрионы. Есть вопросы?

А как не быть? У одного Толи Чибиса этих вопросов накопилось, как холерных вибрионов в креветке. Но и у него, и у всех остальных был, конечно, один, судьбоносный: как с этим, в сущности, милягой Толяном теперь поступят? Призрак холерного гетто, словно коммунизма, встал во весь свой, уж никак не меньше Чибисова, рост.

3

Пыльный городской июнь гнал по Большой Никитской (Герцена, чтоб не путать) комья тополиного семени. У Никитских Ворот фонтан вокруг ротонды, прозрачными струями призванный намекать на чистоту душ, выходящих из храма Вознесения и омытых там Божьей благодатью, покрылся словно бы лягушачьей икрой. Ужасная Натали возвышалась над своим Александром, как Анастасия Волочкова, и пух оседал на ее бронзовых плечах и буклях, точно фата, что было кстати, потому что по замыслу скульптора Дронова Пушкины выходили как раз из церкви, где, на беду, венчались. Александр Сергеевич тоскливо озирает едва ли не самый сложный в Москве перекресток, который вскачь пересекала другая молодая дама, сумевшая бы, уж будьте уверены, соблюсти честь и свою, и своего гениального мужа, и вообще не дать его в обиду, если б он у нее был.

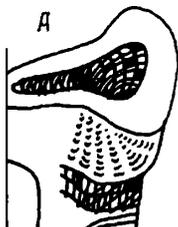
Впрочем, назвать дамой эту чуму было бы известной натяжкой. Алиска, от волнения ненакра-

шенная, бежала на встречу с Кузей к памятнику Чайковскому перед консерваторией. Жуткая новость, полученная от Толика в виде эсэмэски вчера вечером, не была шуткой, как Кузя поначалу надеялся. Они еще долго перезванивались, пока Чибис по требованию палаты не отключил телефон, и Кузя был обескуражен тем ужасом и паникой, которые волнами накатывали на него из эфира. Он знал Толяна не просто хорошо. Он знал его, как профессор Набоков — «Евгения Онегина». Как дядя Степа — расположение в своем районе колодцев-гидрантов. Как Петр Первый — плотническое дело. Как Николай Карамзин — историю государства Российского. Как Зухра Харошмухамедовна — свои тряпку и ведро. То есть знал досконально. Сказать, что Чибис пофигист — мало. Он генерализованный пофигист. Пофигизм являлся краеугольным камнем его личности. Причем пофигизм этот был направлен исключительно на себя. Надежный товарищ, буквально Иван Пущин, доктор Айболит и его собака Авва в одном лице, к себе Анатолий относился как к человеку не то чтобы чужому (еще это называют гадким словом «вчуже»), но как бы абсолютно неуязвимому. Хотя плюющие на себя, согласитесь, подозрительны, ибо сказано: возлюби ближнего, *как себя самого*. Как кого же тогда любил ближнего Чибис? Это вопрос.

Плевал ли на себя Сын Человеческий? Вот уж нет! Вот уж кто умел любить себя, и в жертву себя приносил, не переставая обожать эту жертву, и предателей, и палачей своих прощал, любя

27

Е Р Д



в них свое прощение и муку... О, это был гениальный Учитель любви к себе как ко всему существу...

Истерика товарища Кузю не только напугала, но даже отчасти ему передалась. Срочно и неотлагательно обсудить бедствие, включить в его переживание еще кого-нибудь, хоть ту же Алиску (а кого еще?)!

И вот Алиса, по обыкновению, несется как оглашенная, грива дыбом, хвост трубой, уши по ветру, синие кукольные глаза выпучены, из-под брючины торчат не вынутые и незамеченные вчерашние колготки, вся — порыв и безрассудство, бардак в головенке зашкаливает... Кузя же сидит на цоколе и посматривает снизу вверх на великого композитора, в свою очередь сидящего со странно поднятыми руками, словно бы дирижирует (сидя?). И внезапно его озаряет странная идея (не Чайковского, а Кузю). «Не зря же я, эстет и стихийный философ, не зря я выбрал это место! В конце концов, что там обсуждать с безумной Алиской?»

— Вот ты хотя бы в курсе, Алиса, от чего умер Петр Ильич Чайковский? — Кузя свысока взглянул на встрепанную подругу и пощипал усишко.

— Какое это имеет значение? В такую минуту! Нашел время блистать своей дурацкой эрудицией!

— Прямое.

— Ну откуда я знаю... От СПИДа, наверное.

— Дура ты, Алиска. Умер он от холеры. Но это официальная версия. А многие считают, что ортодоксальные историки порошили нам мозги. По-

тому что он не мог, понимаешь, никак не мог за-
разиться холерой! Негде ему было!

— А воды сырой попил?

— Ты-то откуда знаешь? — опешил Кузя. Он не ожидал, что известный многим факт известен также и поразительно невежественной Алиске. — Представь, так все и писали битых сто лет подряд. Именно воды. Сыграл Шестую, разнервничался и типа забежал в ресторан на Невском, где дали ему стакан воды. Но Дягилев... — И Кузя внимательно посмотрел на Алису.

— Да знаю, знаю. Напаялить на тебя цилиндр — и похожи, как рódные братья.

— Так вот Дягилев утверждает, что покойный Чайковский лежал на одре без всяких следов холеры. И хоронили его в открытом гробу. Что в случае смертей от холеры было запрещено.

— А что, много народу помирало? — Алиска тревожно закусилa нижнюю губу.

— В том-то и фишка! В 1892 году умерло по России тридцать тысяч. Почему бы, спрашивается, в 93-м не умереть еще тысяче-другой, в том числе и великому композитору-гомосексуалисту?

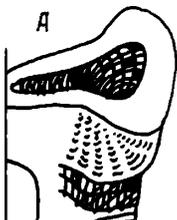
— Ну?

— Ну вот на этом они и строят свои фальшаки. Вскрытия-то не делали! И сейчас это вранье разоблачают разные продвинутые персонажи. Никакой не было холеры, в дорогом ресторане холерой не заразишься. Петр Ильич покончил с собой, а ему было от чего. Но сейчас не об этом.

— А от чего? — заслушалась сирену-Кузю Алиска, со своей легкостью в мыслях необыкновенной.

29

Е Р А



— Говорю, не об этом сейчас речь. Я тебе о чем? Что у Толяна тоже нет никакой холеры! Мы что с тобой, его не видели? Я всю ночь из Интернета не вылезал, холеру эту гребаную шерстил! Он уже неделю назад должен был лежать, как мерзлый овощ. А мы своими глазами видели его народные гуляния у окошка, нет?

— Толика?

— Нет, Петра Ильича с Дягилевым и Нижинским на троих!

Кузя развернулся и с удивительной проворностью понес дягилевское пузо к метро. Алиска поспешила следом.

Первое, на что они обратили внимание во дворе больницы, — наглухо закрытое окно знакомой палаты. Не заметить это было бы трудно, поскольку историческая фрамуга единственная была открыта всегда. Но истории фрамуги наша парочка не знала и потому начала кричать. Уж кто-кто, Алиска то поорать умела и любила.

— То-лик! — вопили они дуэтом. — Чи-бис!

От облупленных дверей отделился охранник в черном:

— Чего надо?

— Друг у нас, Чибис...

— У дороги ваш чибис. Нечего глотку драть. Карантин. А ну, быстро, уходим, уходим, быстро.

— Какой еще карантин, на каком основании?! — набрала воздуха для скандала Алиса.

Охранник повернулся глухой спиной и вновь прирос к дверям. Даже Алисе было понятно, что дальнейший разговор будет носить односторон-

ний характер — такую каменную безнадежность это секьюрити *излучало*.

Обежали больницу по периметру — та же картина. Всё на запоре, ангелы смерти курят на ступенях, и всюду это черное татарское слово: КАРА-НТИН. Ринулись в административный корпус, тоже охраняемый, как склад оружия. Но тут дверь резко распахнулась, вохрец вытянулся, только что каблуками не щелкнул, и на крыльцо выплыл синемордый бегемот, с носом, изрытым крупными порами. Пиджак застегнут с опережением на одну пуговицу, галстук маленько на сторону, но портфель хороший, дорогой, с монограммой. Алиска возьми да и подскочи:

— Извините, ради бога, вы не могли бы объяснить...

Охранник сбежал с крыльца и заслонил собой Касторского, будто от Веры какой-нибудь Фигнер.

— Дайте пройти, женщина, — тоненько тявкнул главный, и охранник зашептал:

— Проходите, проходите... Платон Егорыч, все в порядке...

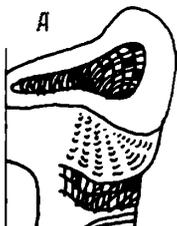
— Да ничего не в порядке! — зарычал тут Кузя. — И руки убери, ты, вертухай! Кто вы там, мистер, не знаю, извольте объяснить ситуацию! Мы родственники больного, имеем право получить информацию, черт побери!

Касторский от неожиданности остановился:

— Конкретно какого больного?

— Чибиса, — хором ответили друзья.

— Ах, этого... — Касторский растянул мясистые губы в так называемой улыбке. — Информация



простая. Родственничек ваш подвел нас очень крепко. Больница теперь, как видите, на карантине по случаю его, будем говорить, холеры.

— А вы здесь врач? — глуповато спросила Алиса.

— Нет. Я здесь — Господь Бог. Всё? Могу идти?

— А... надолго эта... этот...

— Навсегда.

Касторский сел в подчалившую «ауди» и исчез за шлагбаумом.

Холерный карантин, объявленный по Майборде, кроме перекрытых входов-выходов, в остальном носил весьма экстравагантный характер. Самого Чибиса никуда, конечно, не перевели, но больным его отделения запретили пользование... туалетом. То есть в буквальном смысле, к радости Зухры, навесили во-от такой замок, и что хошь. Ну, конечно, кой-какие санитарные меры принимались. А именно: в палаты поставили двойные контейнеры на колесиках, типа мусорных, кубов на двести, и ящики с хлоркой. В контейнеры неравновешенные желудочно мужики сваливали из суден продукты своей жизнедеятельности и засыпали хлоркой. *Два раза в неделю*, во вторник и пятницу, приезжал просто-напросто золотарь, дежурным больным выдавали специальные робы, те выносили параша с черного хода во двор, и золотарь (или, как культурно он называется вместе со своим авто в профессиональных кругах, «илосос») откачивал все это хозяйство в цистерну. Предполагалось, что дерьмо впоследствии уничтожается

с помощью негашеной извести, а робы стерилизуются. Проверить невозможно.

Вспомним теперь, что окна в палатах не открывались и раньше, а в той единственной, где имелся тайный механизм фрамуги, ее вновь забили гвоздями, — и вообразим, что за райское Баунти установилось в отделении.

Дабы не отравиться парами хлора и вообще поменьше нюхать всю эту прелесть, врачи практически перестали посещать отделение. Единственный медбрат с жидкой бородежкой, призванной скрыть (но не скрывающей) двойной подбородок, являлся на заре колоть Чибису какую-то вакцину. Столовая закрылась, так как мытье инфицированной посуды «является, будем говорить, благоприятным для заразы». По утрам и в обед раздатчица в респираторе привозила на тележке одноразовые тарелки с кашей или, как их ласково называют, котлетами с горой синих макарон плюс тушеная капуста плюс поллитровые бутылки воды. Отходы сваливались в мешки, которые Зухра уносила по вечерам и сжигала в котельной. Примерно полсотни мужчин стояли, будем говорить, на пороге дистрофии, цинги, химического отравления, не говоря уже о маниакально-депрессивном психозе (МДП), и это в лучшем случае.

Ц

Однажды ночью, проснувшись от волны чудовищной вони (кто-то слил судно в парашу), Толик услышал, как его добрый приятель Пьер, герой Чечни, шепчет подсевшим к нему мужикам: «Хлорки на морду насыпать и закрыть подушкой, к едрене фене, никто и не допрет...» Умный Чибис понял, что именно он стал в глазах народа главным виновником катастрофы.

Жаловаться, сами понимаете, некому и бесполезно. Перестал спать ночами, караулил. Порой не выдерживал, под утро проваливался в неспокойный чугунный сон и самого себя будил тяжелым храпом. В одном из таких забытий Чибис то ли видел, то ли пригрезилось, как маленький очкастый Энгельс с платной стоянки, хитрожопый удалец, шарит по тумбочкам. Скорее все-таки пригрезилось, потому что этот предрассветный Энгельс вынул из тумбочки Безухого пистолет и, нажимая на курок, как на кнопки мобильного, стал неразборчиво шептать прямо в

дуло. После чего с тихим всплеском бросил ствол в парашу.

Поскольку институт учета и контроля, можно сказать, самоликвидировался, курили, почти не таясь, в палате. Крутой табачный дух вроде бы отчасти забивал прочие испарения, но дышать, конечно, легче не становилось. Женский персонал (не считая слонихи-раздатчицы и Зухры) в отделении перестал появляться вообще после того, как одну сестричку отловили, дверь закрыли на стул и пригрозили поставить медработника среднего звена на хор, если не вызовет начальство. Сунули телефон, и сестричка в полубомороке без голоса всхлипнула: «Кястас, зайди в третью...» Начальство (в респираторе) прибыло немедленно. Не сам Касторский, правда, а заведующий отделением литовец, огромный, как Сабонис, на голову выше Чибиса, а уж шире ровно втрое. Руки с лопату, взгляд командира расстрельного взвода.

— Слушаю, — тихо сказал с ударением на предпоследнем слоге.

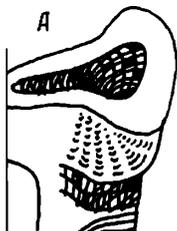
— Да что тут слушать! — загалдели мужики. — Вы нюхайте! Маску-то сними и подыши через нос!

Гигант послушно снял респиратор, два раза вдохнул и выдохнул.

— И что (твердо упирая на «ч»)?

— Можно в этом жить?

— Можно. Когда вы, русские, оккупировали Лиетуву, ваши солдаты гадили в вильнюсских парках и подъездах частных домов. Мой дед имел два четырехэтажных каменных дома, я родился в



бараке. Это называлось освобождение. До свидания.

Не считая неверных ударений, в целом парень был прав и осознавал свою правоту, как все прибалты. Поэтому вопрос счел исчерпанным и удалился, нагнув голову под притолокой.

— Сука, — сказал Безухий. — Мало вас мочили у телецентра. Есть у кого курнуть?

И тут выяснилось, что блокадников постигла новая беда. Кончились сигареты.

— Чибис, хорош шконку давить, мухой, по всем палатам, хоть за бабки, хоть за котлы, хоть за папу с мамой — но чтоб курево добыть.

— Ты чего, Пьер, охерел? — удивился Чибис. — Я что тебе, шестерка? Тебе надо, ты и добывай. А я себе добуду, когда припрет, не ссы. (Видать, надеялся, на хитроумие Кузи.)

— Это ты, гнида, будешь у меня щас кровью ссать. Ты не шестерка, ты хуже последней насадки, б... холерная.

Дядя Степа в порыве справедливости спустил ноги с койки:

— Зря ты, Петюня, чем он-то виноват? Любой мог схавать этот рябион, чисто ж случай, лотерея, что холера, что трипак, скажи, братва! А насадка при чем? Он что, ссученный, или что?

Интересно, что изъясняться на фене в какой-то момент стало для всех, даже для солиста Кукушкина, легко и привычно. Язык первым реагирует на коренные изменения жизни, и не в том смысле, что бытие определяет сознание, зачастую отнюдь не определяет; мы знаем примеры, когда люди в

самых лютых лагерях сохраняли достоинство и совесть. Но перед языком пасуют и пасовали все, даже академик Лихачев. Впрочем, тогда он не был академиком, что не отменяет сказанного.

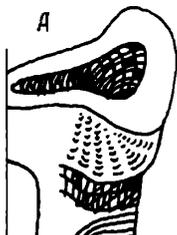
...Сахронов проверял результаты зачистки. Прапорщик бежал по пустынной, залитой солнцем улице Грозного, еще недавно бывшего городом, и, говорят, красивым городом, один салажонок из его отряда рассказывал, русский, родился тут и жил лет до тринадцати. Потом мать, чтоб убедить, отправила его в Тамбов к тетке. Ну а через пять лет призвали, и сюда. Дом салажонка разбомбили, родителей как беженцев переправили невесть куда... Аккурат вчера этот Витек подорвался на mine.

Петр двигался перебежками, от укрытия к укрытию, как учил новобранцев: точно как заяц, на которых с детства натаскивал его в деревне папаша.

В тени каких-то руин Петя присел на рванный кусок кладки осмотреться и вспомнил вдруг, как на прошлой неделе приходил к ним в занятую под казарму школу поп. Поп был не русский и, конечно, не чеченский. То есть православный, но при этом чернявый и носатый. Усы-борода, само собой, а выговор чистый, не кавказский. Парни решили, что, пожалуй, еврей. Петя к евреям относился равнодушно. У него даже телка была — библиотекаря еврейской нации. Но факт еврейского попа удивил. И вот что этот поп-еврей рассказал. То есть он вообще много говорил — о войне, о грехе,

37

Е Р А



о Божьей каре, о том, что виноватых на войне нет, а есть одно страдание... «Это вы зря, отец Симеон, — покачал головой сопровождавший попа однорукий замполит части. — Я вон еще в первую кампанию, боевым командиром, попал к этим... в плен. Они на моих глазах у живых людей кадыки вырезали. А мне руку отрубали по частям, пока наши с воздуха не накрыли. Я бы не стал, знаете ли, пацифизм тут разводиться...» Тогда осмелел и Петя: «Как же нет виноватых? Чего ж мы тогда с ними воюем?» Дети платят за грехи отцов, сказал поп, солдаты — за грехи властей. И еще добавил: «При держащих». Примерно так. Тогда ребята, забыв про замполита, потому что никто тут никого и ничего не боялся, кроме одного: зиндана и пыток, стали бузить: это что ж, они малолеток трахают, старух на БМВ сбивают, бабло у народа воруют, в нефти по ноздри, а мы тут мрем как падлы? Замполит, высоко задрал брови, ножом с наборной ручкой, зажатым между колен, чистил ногти на единственной руке, которую лелеял как зеницу ока.

Тогда еврейский поп ту притчу и рассказал.

Смерти, говорит, на войне, конечно, много. Но бежать от нее нет смысла. Потому что смерть ждет тебя в одном определенном месте, о котором ты и не догадываешься. Один, говорит, человек встретил смерть — и бежать. А смерть, говорит, усмехнулась и пошла себе в другую сторону. А человек побежал от нее в город Самару́. «Самару́?» — переспросил один, сам с Тольятти. Поп не ответил, улыбнулся только и говорит:

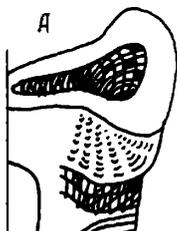
«Приходит он в Самару́, а смерть его там дожидается. Ну? Поняли?» Никто ничего не понял, кроме того, что поп, по причине, скорей всего, своей еврейской личности, странно называет русские города. А вот теперь, сидя тут в тенечке и машинально кося глазом по сторонам, включив все локаторы, что были у него в затылке, в лопатках и плечах, Петя подумал про Витька-первогодка, как тот с Грозного в Тамбов подался, откуда его... ну понятно... да и понял вдруг. Вот тебе и мальчик хочет в Тамбов. А небось и не хотел. Не хотел ведь, а, Витек? «Не, — отвечает мертвый Витек, совершенно как живой, — совсем не хотел, товарищ прапорщик. Я ж тут каждый камень знал, а как абрикосы цвели, вы б видели, товарищ прапорщик...»

В этот момент словно взвизгнуло что-то, коротенько, хотя Петр успел понять пулю и чуток голову отклонил, как от мухи. Ну муха по уху-то его и чиркнула. Боли не было, только оглох, и кровью залило моментально все плечо и спину камуфляжа.

Видать, не на улице Джохара Дудаева в городе Грозном ждала Петра Сахронова его смерть, а в какой-нибудь, мать ее, Самаре.

...Заяц, петляя, улепетывал от вислоухой собаки, собака гнала, гнала, гнала, с болота на пригорок, с пригорка в чащу, сердчишко заячье совсем уж зашло, вылетел длинным прыжком на опушку — прямо под сросшиеся дырки двух стволов.

Всякую тварь ожидают в своем месте. И место встречи изменить нельзя.



— Считаю до трех, — сказал Безухий. — На счет «три» ты и ты, — он ткнул в двух парней поздоровавее, — опускают Чибиса репой в парашу.

— Брось, — сказал один, студент и красавец гусарского типа по имени Михалыч, так его звала даже родная мама. — Не буду я. Что, ей-богу, за лагерные приколы...

— Не будешь, отправишься следующим рейсом. Ну, Чибис, пошел за куревом? Раз...

Чибис лежал на боку, положив на ухо подушку.

— Два...

— Погоди, Петя! — вскочил вдруг Энгельс. — Хочешь, я пойду? У меня и знакомые там есть. А?

— Нет, божья коровка, не ты, а он. Если хочешь, давайте на пару. Два с половиной...

Энгельс подскочил к Чибису, потянул подушку.

— Толик, пошли, не залупайся, браток... — и зашептал: — Пойдем перетрем кой-чего, дело есть...

Второй здоровяк, как бы в пару к Безухому, одноглазый, про которого никто ничего не знал, кроме того, что звать его Фомин, или Фома, и раз в три дня этот Фома бреет всю голову вместе с лицом электробритвой Sony с одной и той же насадкой, а руки, плечи, спина и грудь у него все синие от татуировок, — вразвалку подошел к Петру.

— Ну чего, — сказал, медленно жуя, и, как говорят медсестры при вводе иглы в вену, «поработал кулачком». — Три, что ль?

— А ты не лезь, лысый. Сходи вон, пописай, —
огрызнулся Петр.

Чибис дал Севе стащить себя с койки и побрел за ним к выходу.

— Йес! — сказал Безухий и согнул руку в локте.

С этой минуты палату без натяжек можно было называть камерой, и в камере этой постепенно устанавливалась иерархия.

Мелкий очкарик Энгельс — единственный, наверное, из всего отделения еще не разделся до трусов. Он носил маечки с разными лозунгами и менял их довольно часто для усиленного режима, доставая из чемоданчика. От Севы не разило ни эксскрементами, ни, поверите ли, даже потом! Если бы кто-то дал себе труд задуматься над этим его чудесным свойством, этот кто-то развязал бы цепную реакцию вопросов и неизбежно ткнулся бы в Севин чемоданчик, скрывавший много интересного. Но народу было не до Севы с его ангельской чистотой.

Между тем сторож платной стоянки Сева Энгельс — любопытнейший цветок в нашем букете.

Еще крошечным ребенком сидя в прогулочной коляске, Сева начал постигать природу денег. В три года он написал стихи:

В этот час, милый друг,
Появились уточки,
А коровки всё за ними,
А бычки гуляют.

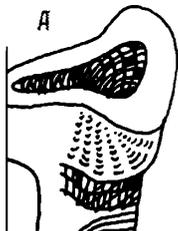
Именно *написал*, поскольку уже умел. Читать он начал в два года — прямо как хасидский ребенок, хотя был, наоборот, немцем по отцу. Правда, из академической семьи. Написав же (с ошибками), Сева перегнул листочек пополам и против стихов нарисовал, как мог, героев своего эпоса, собственно уток, коровок и бычков. Они мало отличались друг от друга, но большая семья Севы была в восторге. Далее малыш пошел к бабушке и продал ей «книжечку» за 50 копеек (1971 год). Потом за рубль продал ее же деду-академику. А потом последовательно и профессорам маме с папой, уже по трешке. Покупать издание, даже за десять копеек, отказалась лишь одиннадцатилетняя Райка, дочь отца от первого брака (ее мама умерла, говорили детям, что было неправдой; в этой замечательной семье все заботливо врили друг другу, чем и обеспечивался приятный покой и всеобщее благорасположение). Райка обозвала его «жиденком», за что фатер небожно выпорол ее *кошачьим поводком*. Юная антисемитка далеко высунула язык и скосила к носу глаза. «Вот так и останешься, ду'я», — сказал Севка картаво и спрятал денюжки в железную коробку из-под дождя.

Так был основан капитал Севы Энгельса, впоследствии сторожа платной стоянки и много чего другого.

Сева фарцевал во дворе, в школе, в вузе, когда бедный Гайдар отпустил на волю цены, но прилавки все равно оставались пустыми, как глазницы смерти. В армии он после военной кафедры

43

Е Р Д



неплохо устроился лейтенантом на частной квартире еще с троими дружками. Все они с честью несли ромб авиационного института, где в совершенстве овладели рядом карточных игр, и в первую очередь преферансом. Сева, гений во многом, в том числе в игре, чистил однополчан, как дефективных детей.

По специальности Сева не работал ни одного дня. Родителям сказал, что не может найти «ящик», куда его распределили, что было, как ни странно, правдой. Режимные НИИ с так называемым *допуском* постепенно перепрофилировались да и вообще закрывались, и на месте Севиной пропеллерной конторы через пару месяцев после его дембеля уже сверкал какой-то «Mishin фэшн шоп». (Кстати, к вопросу о языке. В названии модных лавок с некоторых пор любят переходить вдруг с латиницы на кириллицу, как бы уставая к концу длинного бренда от чужой азбуки. А то еще продают всякую отечественную дешевку в магазине с непонятым названием «Сток». Как будто если слово не совсем понятное, оно немедленно становится иностранным и тем самым привлекательным. А вместе с ним и товар. Вообще, довольно тонкий рекламный ход. Хотя изначальная привлекательность этого товара уже заранее заложена в его смешной цене.)

Но мы отвлеклись.

Сева Энгельс не стремился к большим деньгам. Он хотел жить в меру красиво и не напрягаясь. И придумал одну штуку. Он *начинал проекты*.

Здесь надо сказать, что Сева, подобно Дягилеву, очень любил балет. Но, в отличие от Сергея

ЦЦ

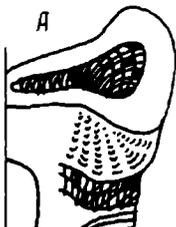
Х О Л

алла боссарт

Павловича, платонически. Энгельс водил дружбу отнюдь не с балетными мальчиками, а только с молоденькими балеринами. На какой-нибудь премьерке в каком-нибудь Большом (где был своим человеком) он наметанным глазом выщелкивал в ВИП-ложе богатого гетеросексуала, случайно знакомился с ним в буфете, ненавязчиво угощал шампанским и вел за кулисы. В тот же вечер приглашал его (вместе с хорошенькой этуалью) в *настоящий* китайский ресторан, где вешал ему на уши китайскую лапшу о проекте, например элитного журнала «Русский балет». Потом, расплатившись, срочно убежал, вызванный звонком той же этуали (из дамской комнаты), оставляя богача пировать с девочкой. Потом ему было уже очень легко и удобно вновь встретиться с банкиром (нефтяным, алюминиевым, водочным баронами) и завести речь об инвестициях. Концепция журнала (цикла телепередач, антрепризы, музея — проект непременно задумывался как культурный, чтобы изначально вызвать у денежного мешка комплекс вины и неполноценности) была у Севы прописана самым детальным образом, вплоть до слоганов. Сбоев практически не случалось. Бароны охотно вкладывали в *культурку*, это была беспроигрышная классовая компенсация. Сева честно наворовывал на один номер (спектакль, выставку, программу), после чего *проект* тихо угасал, оставляя Севу с совсем неслабым прикупом. Убытки же барона были столь ничтожны, что он и не вспоминал ни про какого Энгельса, ни про какой «Русский балет», а уж с этуалью как по-

45

Е Р А



катит. Иногда неразворотливые бухгалтерии еще долго автоматически вписывали «Русский балет» в свои ведомости, и Сева Энгельсу порой и год, и два капали шальные деньги.

Сева не был Великим Комбинатором. Он был тем, что имела в виду глупая по малолетству Райка, квалифицируя его как «жиденка». Сева Энгельс принадлежал к обаятельной и сторонящейся крупного риска породе жулья средней руки. То есть по миру никого не пускал, крови на душу не брал, хомячил себе помаленьку и жить давал другим.

Со временем он сменил профиль и лет до тридцати пяти имел хорошие деньги, посредничая при растаможке иномарок. А потом как-то резко устал и пошел сторожем на платную стоянку, продолжая туманно докладывать престарелым родителям и бессмертным «гроссам», что занят автомобильным бизнесом. Правду знала одна Райка, которая сама держала на этой стоянке некую нереально дорогую блоху на колесах.

Эта бывшая Райка, а ныне Раиса Вольфовна, за особенности нрава прозванная коллегами Волчица, представляла одну из самых лихих служб города: санитарную инспекцию. Так что *в настоящий период времени* Сева возлагал на сестру большие и отнюдь не пустые надежды. Толку от нее Севе было, конечно, куда больше, чем Чибису от его заполошных дружков...

Коридор, куда вышли Чибис и Энгельс, как нарочно, располагался буквой именно «Г», и эта прихоть не моя, а зодчих купца Алексеева. Наша па-

лата находилась как бы за углом, поэтому никто не видел, куда направились гонцы. А пошли они, Чибис за Севой, как за Вергилием, вовсе не в соседнюю палату. Незаметно добравшись до конца коридора, Энгельс собрал ротик в куриную гузку и прижал к ней коротенький палец. Из кармана шортиков Сева вытащил четырехгранный ключ, так называемую гранку, какой запирают двери в некоторых больницах, — и смешная в смысле соотношения калибров, а по сути трагическая пара выскользнула на лестницу. Преодолев пару маршей, Сева с Чибисом таким же макаром проникли в некие чертоги: чистота, турецкая плитка, свежий запах евроремонта...

— Это что? — прошептал потрясенный Чибис. — Эксклюзив для Лужкова?

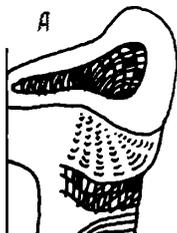
Карлсон, не убирая пальчик от губ, потянул Анатолия к белым дверям. Их он отомкнул уже нормальным ключом, который висел у него на шее, на веревочке, как привязывают ключ от квартиры детям. Чибис едва не лишился чувств. Это был совмещенный санузел! Хромированные краны душа! Сияющий унитаз! Туалетная бумага! Жидкое мыло!

Вписав впалый зад в овал стульчака, Чибис испытал тот же пронзительный восторг, что и в детстве, когда на экскурсии в Ленинграде училка повела их в Эрмитаж. Там маленький Чибис, никто и ахнуть не успел, вскарабкался на трон Петра Первого и полминутки там посидел, пока музейные тетки чуть не отрубили ему голову.

От наслаждения он потерял дар речи.

Ц7

Е Р Я



— М-м-м... м-м-м? — спрашивал он у Севы. —
О-о-о-о... Пфф...

Потом Чибис мылся. Он стоял под настоящими тугими горячими струями и по желанию делал их прохладными, а потом снова теплыми! Он мылился, как безумный, он оброс пеной, как Афродита... Вдруг, он и сам не понял, в чем дело, откуда-то из живота вырвался приглушенный вопль. Анатолий Чибис достиг оргазма.

Пока Толик стирал трусы, Сева рассказал ему историю, похожую на народную легенду.

Отделение отремонтировали и полностью оборудовали год назад. Но стоит *койко-день* столько, что за весь год здесь лежал один аудитор счетной палаты, отравившийся устрицами. Отравление было таким тяжелым, что бедного ворюгу не спасли, так и помер в говне и блевотине на белоснежных простынях, сменяемых каждые пятнадцать минут. С тех пор сюда никого не заманишь.

— Кто при бабках — они, видать, дрищут только от передоза или от страха, когда конкуренты вешают их за яйца. Евроремонт тут не канает.

— А ключи откуда?

— Дала... дал один человек.

— Сестрица?

— Какая сестрица?! — поперхнулся Сева.

— Милосердная. Обычная сестричка. Не устояла перед твоей харизмой, а? Колись, Карлсон!

— Не важно. Кстати, запомни. — Энгельс снял очки и заглянул своими заячьими глазами Чибису прямо в печень: — Скажешь кому — стреляю без предупреждения.

– Слушай, – вспомнил Чибис свой сон. – А у Безухого...

– Что? – Энгельс напрягся.

– Есть у него пистолет?

– Я-то почему знаю... – Сева нацепил очки и полез в душ. – Потри-ка спинку...

– Слышь, Севыч... А курево-то мы так и не достали!

Сева выключил душ и нагнулся к незаметному шкафчику под раковиной. Оттуда он достал полотенце, чистую маечку с признанием: *Prefer natural sex* и несколько пачек разных сигарет и папирос. Смешал в одной коробке «Беломор», «Мальборо», «Приму», для понту – одну пидорскую с ментолом, «Дукат» и L&M: как бы с миру по нитке.

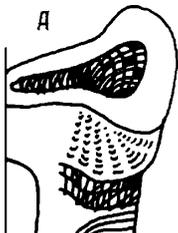
– Схрон мой. Снабжают хорошие гномы... – Карлсон засмеялся и сунул грязную майку вместе с сигаретами в пакет. – Ну, вперед?

– Назад, – усмехнулся Чибис. – В будущее...

Выйдя из душа, два презабавнейших персонажа, один тощий и голый по пояс глист в мокрых трусах, другой – пончик в шортах и футболке с объявлением, что он предпочитает натуральный секс, нос к носу сталкиваются с пышной блондинкой в пижонском медицинском костюмчике – розовой курточке и брючках. На грудях невероятный бейдж «Королева Елизавета Георгиевна. Сестра-хозяйка».

– Вы кто? Вы что тут делаете? – взвизгивает королева.

Сева Энгельс удивленно поднимает глаза от августейшей груди к дрожащим от гнева щекам:



— Егоровна, ты ж сама нас еще на той неделе вызывала! Слесаря мы, у вас же тут засор, была?

— Почему забыла... Я все помню. Починили? (Какой, на фиг, засор, королева? Кто, кроме случайной мушки и бесплотных ангелов, мог засорить эти пещеры Аладдина?)

— Ну а як же! — Сева самодовольно чешет живот и зачем-то протягивает «Королеве» раскрытый пакет. — Проверять будешь?

— Дак вас не проверишь, оглоедов, вы, пожалуй, наворотите. Ага, так. Ну, боля-меня, боля-меня... Чего-то позабыла, звать тебя как?

— А Калашников, неужель не помнишь? — И негодяй Карлсон препохабным образом хозяйке подмигивает.

— А напарник?

— Стечкин я... — шепчет Чибис еле слышно, и Энгельс засопел так, что у него вспотели очки.

— А чего в таком виде?

— Да жара ж, Егоровна, спасу нет! Не знали, что встретим ваше величество, приоделись бы!

— Ишь шпиндель!

Усмехнувшись, сестра-хозяйка окинула босоту таким взглядом, каким тезка небось инспектирует военно-морской флот, напевая про себя «Правь, Британия». Благосклонным.

С лестницы скатились, себя не помня. Ржали истерически, до икоты, до слез.

— Нет, я схохну, Стечкин... Слушай, а тебя не удивляет, с чего это я тебе такие тайны страшные открыл?

— Чего ж тут удивительного... Удивляюсь, как ты до сих пор молчал. Я бы уже лопнул.

— Так ты смотри не лопни. У меня дед — доктор исторических наук, академик. Меня с пеленок историй пичкали. Быдло должно знать свое место: шконку, парашу, пайку. Их нельзя никого до хорошей жизни допускать, поверь... Стечкин. — Энгельс ткнул Чибиса кулачком в так называемый живот. Поманил ладошкой, зашептал на ухо: — Запомни, Толик. Касторский не дурак. Может, не понимает этого, как я, но интуитивно чувствует: открыть сейчас двери — будет кровь, мясорубка, жуть с ружьем. Ты спрашивал насчет пистолета... Так вот: был у Петьки пистолет. Больше нету. Всё. Меньше знаешь — крепче спишь. А ты сегодня, факт, не уснешь.

— Не факт.

— Что «не факт»?

— Да все это не факт. Ладно... Хорошо, скажи тогда... Чего ж ты меня... ну, это... допустил?

— Да очень просто. Я увидел сегодня, как ты эту шваль... презираешь. Понял?

6

Солист Эдик Кукушкин страдал больше других. Во-первых, он не курил. То есть был лишен единственного убогого удовольствия, которое еще осталось на долю заключенных, к тому же табачный дух не облагораживал для него феноменальный коктейль, а только усугублял общую беспросветную вонищу. Во-вторых, он влюбился. Влюбился сразу, с первого взгляда, безнадежно и унижительно. Если бы про его чувство в камере прознали, его бы замучили — буквально, физически, до смерти. Ибо объектом его сумасшедшей страсти стал Фома.

На воле Эдик не особенно скрывал свой порок. Время на дворе — «боля-меня», лесбиянки открыто тусуются на Тверском бульваре, геи представляют своих партнеров: мой муж, моя жена. Однополые браки пока еще не узаконили, доблестная РПЦ проклиняет содомию, пожалуй, с еще большей злобой, чем всегда. Эдик частенько ловил на себе насмешливые взгляды, когда со своим кудря-

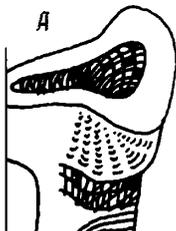
вым *другом* шел по улице или сидел в ресторане. Но никто ни разу не сказал ему «пидор», а уж тем более «пидор гнойный».

«Эдик, дитя моего сердца, — говорил профессор Гнесинки Аристарх Ильич, сажая Эдика к себе на колени; бедра, согретые шерстяными кальсонами, были твердыми и теплыми, как деревянные перила в особняке школы, — ты нежный мальчик, у тебя сказочный тембр, тебе никак нельзя пропасть. Я боюсь за тебя. В этом мире такие, как мы, очень уязвимы. Ты должен держаться своей среды. Пока еще ты находишься под моей защитой, но я не вечен... («Вечен! — кричало все в Эдике. — Я не отпущу вас, не дам вам умереть!») Да-с, друг мой, уже очень скоро я, так сказать, присоединюсь к большинству (и Эдик со страшной отчетливостью вдруг понял и даже увидел, как это происходит: как все бестелесные души, населяющие *тот свет*, все, кто когда-либо умирал на земле, бродят немислимой, непомерной толпой и ежеминутно принимают в свою компанию все новых и новых)... Обещай, мой мальчик, если я не сумею довести тебя до окончания училища, обещай не бросать искусство, обещай не отклоняться от избранного пути, обещай жить среди своих! Обещай, что твой новый друг будет способен понять искусство и оценить тебя! Обещай не изменять мне с грубыми скотами! Обещай! Обещай, клянись!» — кричал старик и плакал, прижимая Эдика к костлявым бедрам и целуя его теплую белесую макушку...

И Эдик поклялся.

53

Е Р Д



Аристарх Ильич держался на плаву словно бы одной силой любви. Он бережно перевел мальчика через опасную переправу пубертатной ломки. Из ангельского дисканта, сбросив желтый гусёночий пушок, вышел, расправив мощные крылья, свежий, искрящийся тенор редкого бархатистого оттенка. И немедленно покори́л ровесника, скрипача-виртуоза, с которым оказалось так весело и интересно играть в известные, казалось бы, обоим игры. Аристарх Ильич, проходя мимо класса, увидел, как, исполняя дуэт Вивальди для скрипки и голоса, смотрят друг на друга два Адониса (чернокудрый — ученик и *протеже* прославленного скрипача), утер сладкую, с горчинкой, слезу, спустился в раздевалку, стал надевать шубу, поданную дряхлым дружком-гардеробщиком, бывшим степистом, — и умер буквально у того на руках. Талантливая рассказчица-судьба: счастливый Аристарх Ильич присоединился к большинству в тех самых объятиях, в которых начинал свой шаловливый путь...

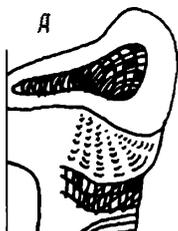
Эдик и Додик, оплакав старика, стали открыто жить вместе. Сначала в общежитии консерватории, где севастополец Эдик занимал отдельную комнату как особо выдающийся студент. А потом оба уже настолько хорошо зарабатывали, что могли снять большую квартиру в центре. Но вместо этого купили дачу, примыкающую к лесу, с фруктовым садом. В соответствии со своими полудетскими-полуэльфийскими вкусами превратили ее в сказочный домик, утопающий по весне в розовых и белых цветах яблонь, слив и вишен. Множество

маленьких комнаток, тайных закутков для внезапной любви, бархатные портьеры, винтовая лесенка с балясинками в форме жирафов, два камина, два рояля, винный подвальчик, гнутая павловская мебель, цветы повсюду, множество подушечек, кушеточек, цветничок со всякими там альпийскими горками, все маленькое, включая заказные рояли и два спортивных кабриолета, в которых любил гонять, кто быстрее... В этом царстве мелочей удивляли величиной два предмета: кровать под сиреневым кисейным балдахином и круглая ванна-бассейн.

В поселке к мальчишкам быстро привыкли, называли «наши педики». Новым русским почему-то нравилось, что из-за живой изгороди, за которой прятался отделанный диким камнем домик, льется музыка светлая, а не дикая попса, как из их собственных красных теремов; небесной красоты пение, а не зверский лай, что гремит за их железными воротами.

Что могло быть счастливее зимних вечеров, когда в углу мерцала обязательно живая елка, Эдик и Додик, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, сидели у камина с хересом, а две собачки, словно их собственные реинкарнации, беленький «вестик» и черненький «скотчик», соответственно, Ватсон и Холмс, лежали каждый у ног своего хозяина и преданно блестяли пуговицами глаз...

Что могло быть счастливее летних дней, когда Эдик (уже чуть полнеющий, что не редкость даже для молодых певцов) голый загорал под яблоней, а Додик, прекрасный, как его микеланджеловский



тезка, стоял тут же, и, мотая буйной вороной гри-
вой, терзал скрипку...

Что за пошлость! — скажут искушенные чита-
тели. Конечно, конечно, друзья мои, пошлость! В
безоблачном счастье всегда есть место пошлости.
В сущности, только это в нем и есть. Потому оно
относительно редко встречается: мало кто спосо-
бен выдержать такой градус пошлости сколько-
нибудь продолжительное время, тем более люди
со вкусом...

Ах, не было в мире пары счастливей! Они чи-
тали друг другу вслух в постели — стихи Гуми-
лева и детективы Акунина. Они брызгались и
хохотали, сидя в ванне. Немного ссорились, спо-
ря, кто гениальнее: Ойстрах или Яша Хейфец.
«Что ты понимаешь! — кипятился Додик. — Ты
же тупой, как бас!» — «Это у тебя мозгов как у
геликона. А басов не трогай, у басов Шаляпин
был!»

На Рождество они жарили индейку и пригла-
шали родителей. Те поначалу смущались. Но
вскоре мама Додика привязалась к любовнику
сына, как к родному (ей всегда хотелось двоих,
да Бог не давал, а потом и муж безвременно ушел
к другой). А севастопольцы шептались ночью в
своей комнате: «Господи, до чего ж хорошо, что
у него такой интеллигентный милый мальчик, а
ведь могла быть какая-нибудь хабалка без про-
писки!»

В один из первых дней настоящей весны, ког-
да вовсю уже лезли на березах изумрудные клю-
вы, а обочины высохшего шоссе испятнали оду-

ванчики, и солнце, казалось, брызжет раскаленным маслом, как желток на сковороде, и почти весь снег в лесу стоял, оставив на память серые ноздреватые клочки в густом ельнике, — дуэт для скрипки и голоса решил глотнуть ветерка, выгнать на время музыку из мозгов, как из оркестровой ямы.

Опустили верх на кабриолетах — красном и масти «мокрый асфальт», и на счет «три-четыре» рванули с места на любимой скорости 150.

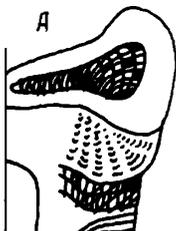
Когда следователи спрашивали потом Эдика, как все произошло, он молчал и пожимал плечами. Один раз сказал только странную фразу: «Ангел был справа».

Так и было. Их общий Ангел держался правой, его стороны. А Додик выскочил на встречную, пошел на обгон — и лоб в лоб влетел в огромный, как показалось Эдику, с БТР ростом, «лексус», со свинцовым бампером и подушками безопасности. Водитель сломал ключицу. Додика в его красной скорлупке размазало, как комара.

На три года Эдик потерял свой знаменитый голос. А когда восстановился, это был уже не блистательный Edvard Palidy, прославивший мамину греческую фамилию, которой рукоплескал Ла Скала. Так, средний тенорок филармонического масштаба. Поступил на штатную службу в филармонию. Когда не было концертов, жил монахом на своей даче. В спальню, где плыла счастливая лодка под сиреневым парусом, не заходил никогда, спал на диване в гостевой, со скрипкой у изголовья. Все фотографии Додика и их двойной портрет

57

Е Р А



работы знаменитой старухи Нечипоренко отдал его несчастной матушке. Но даже и с ней не встречался, хотя уж кто мог понять лучше... К роялям не прикасался, купил дешевое фабричное пианино. Запер кабриолет в гараже, сделался незаметным пассажиром электричек и метро. Даже имя, как настоящий монах, сменил: стал Кукушкиным, по отцу.

Так, во мраке, в каком-то смысле, заточенья прошло пять лет.

И вот — эта дикая вспышка, форменное помешательство: жуткий, вонючий, татуированный бугай с рваным шрамом на месте глаза, с бритой маленькой башкой и грязными ногтями... Бычья ягода вместо любимого стройного смычка, плоская, как барабан, жопа вместо маленьких мускулистых ягодичек! И эти поганые сюжеты на бицепсах, на груди, повсюду: свастики, знаки «солнцеворота», кинжал, обвитый змеем, готические буквы: Mein Vater Adolf... И восемь слов, не считая матерных, в запасе.

Заложников холеры, как самых настоящих зэков, «попалатно» выводили на прогулку во внутренний двор. Вышка в больнице предусмотрена, к сожалению, не была, поэтому под наблюдение двоих вооруженных охранников выпускалось не больше двенадцати человек. Считалось, что это «боля-меня» надежно. На самом деле бежать было некуда, даже если б какой-нибудь сверхчеловек типа Фомы вырубил обоих автоматчиков. Внутренний двор, как и положено внутреннему двору, являлся замкнутым пространством, и на улицу

можно было попасть только через здание больницы. А снаружи, как мы знаем, у каждой двери дежурили такие же автоматчики.

Мужики топтались на захарканном асфальте в размышлении, чего бы покурить, пытались подкатиться к вохре.

— Будь ты, ...ля, в натуре, человеком! — внушал одному Сахронов-Безухий. — Прошу тебя как офицер офицера. Сгоняй за куревом! Под мою ответственность! У меня вошь не проползет, братан!

Охранник, широко расставив ноги и свесив локти с автомата, болтавшегося на шее, тупо смотрел в стену.

— Вот сука, — отступался Пьер. — Тебя бы, падла, в горы, к радуевцам, ей-богу, сам бы отвел, не поленился...

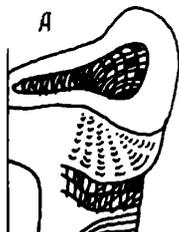
— Что, Петя, — горюнился дядя Степа, жуя свои проникотиненные ржавые усы. — Не ведется, сучий потрох?

— Отвали, — огрызнулся Безухий и шел думать.

— Ишь Чапай, блин! Стратех! — Дядя Степа выгребал из карманов табачный мусор, обрывал чахлую сухую травку, растирал в пальцах, заворачивал в газетный клочок, слюнил, поджигал... — От зараза, блин! — Заходясь лающим кашлем, затапывал самокрутку. — Мало не помер, сучий потрох!

Ржали. Развлечение.

Энгельс рассказывал Чибису о последней американской новинке — электронной сигарете:



— Ощущение полное, что куришь, и дым, а смол никаких, чистый хай-тек. Во пиндосы — сами себя наебали. Как евреи, честное слово.

— Ну и почему? — усмехался Чибис. Он уже знал, что Севе можно верить.

— Сто баксов с копейками.

— Одна штука?

— Со сменными картриджами. Меняешь через день, та же пачка сигарет. Я достану. Хочешь, и для тебя попрошу.

— Да откуда бабки-то?

— Потом отдашь.

— Когда потом, Карлсон? Не, не надо. И тебе не советую. Отберут и тебе же рыло начистят.

— Ой боюсь-боюсь. А то я не найду, где курнуть. А, Стечкин?

Фома сидел неподалеку на корточках, привалившись спиной к стене, жевал спичку, глядел на них единственным тухлым глазом.

— Ржете, жида? Рано веселитесь. Погоди, жидовня, будешь у меня свое говно жрать с электрической сигаретой в жопе на х...

— Чё это он? — спросил у Чибиса Энгельс.

— Ты чё это? — обратился Чибис к Фоме, как толмач.

— Через плечо, б... Я сказал!

Чибиса, хоть и был он белорусом, буквально мутило от таких, как Фома, доморощенных гауляйтеров. К тому же мама Чибиса прожила жизнь с фамилией Фельдблум и до самой смерти помнила гомельское гетто, откуда убежала к партизанам и встретила с Игнатом Чибисом. Поэтому

он недолго размышлял, прежде чем подойти к Фоме и, ногой в плечо, опрокинуть его на бок. И, поскольку удивленный Фома удобно расположился в позе эмбриона, Толик не удержался и с размаху, сзади въехал ему той же ногой по мошонке.

— А-а... Уя... у!! — прорычал Фома. — Все, б... Ты покойник.

— Не факт, — ответил Чибис.

С обеих сторон к ним уже бежали охранники. Петя Безухий, человек как-никак военный (хоть до офицера, если честно, не совсем дотянул), хлопал Чибиса по плечу:

— Молоток, холера. И не ссы. Не тронет.

— Кто сыт-то? — Чибис дернул плечом.

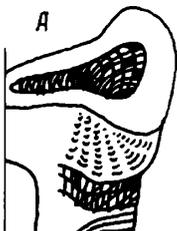
И в этот миг небо словно расколосось, подобно яйцу, извиняюсь, конечно, и из этой трещинки полился, подобно прозрачному свежему белку, совершенно потусторонний голос.

Голос пел на незнакомом языке, и пел, безусловно, о любви, дрожа от страсти и забытого наслаждения. Амор, пел Кукушкин, амор мио соли, белиссимо амор, люблю тебя, мое солнце, мой прекрасный друг и брателло.

Трудно сказать, что произошло с Эдиком Кукушкиным в результате странного и неправдоподобного избиения Фомы вялым Чибисом. Что ощутил он, увидев свое возлюбленное животное держащимся двумя руками за ширинку. Какие неземные чувства всколыхнули его исстрадавшуюся душу и весь его физический состав. Возможно, ему передалась боль Фомы, а вместе с ней вос-

61

Е Р А



кресла та сладкая мука, какая сотрясала их тела, когда они с Давидом превращались в единое целое и, казалось, ничто не могло отлепить их друг от друга... Кто знает. Во всяком случае, к Кукушкину вернулся его божественный голос и силы, и он понял, что добьется любви поверженного циклопа.

Вторник 22 июня 2010 года оказался вдвойне знаменательным. Ну, во-первых, Гитлер со своим звериным коварством, о чем все знают, не упоминая при этом совершенно идиотского и даже параноидального поведения Сталина. А во-вторых, оранжевая цистерна с гофрированной трубой, так называемый илосос, *не приехал*.

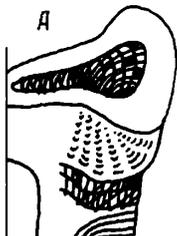
Обычно говночист появлялся к шести утра. В десять вечера ждать перестали. Еще тревожней был другой знак: одарив больных на завтрак сероватой баландой, ни в обед, ни в ужин раздатчица их не навестила. Вообще в этот день никто в отделение не пришел. Толика даже не кололи. Дверь черного хода оказалась заперта, от нее ключами Карлсон не запасся.

Попахивало блокадой. «Это не просто говно, — подумал пронизательный Чибис. — Это запах смерти».

К ночи из палат многие повылезали в коридор. Больные галдели все громче, общий гвалт как-то незаметно перерос в митинг.

63

Е Р Д



Петя Сахронов вспрыгнул на стол постовой медсестры и громовым голосом тугоухого закричал:

— Без паники, братва! Нас кинули, и надо на х... выбираться из этой жопы! Я человек военный, и я так скажу. Когда враг рассеян в горах, его можно взять хитростью. Если он окопался за какой-нибудь, мать ее, крепостной стеной — его надо брать штурмом. Нам не оставили выбора. Нас здесь рыл пятьдесят, что мы, не высадим эти бл...кие двери?!

— Высадим!! — охотно подхватила братва.

— Вот, — Энгельс стукнул кулачком по ладони, — так и знал, что этим кончится! Видал, Толян, что делает, сукин сын! Нет, я скажу, они же в самом деле пойдут сейчас двери ломать... Подсади-ка...

— Да не лезь ты, не связывайся, тебя Фома как муху прихлопнет... — пытался удержать товарища Чибис, но Карлсон уже карабкался на стол.

— Мужики! Петя! Что ты гонишь? Автоматчики же в каждой дырке!

Безухий легко пихнул Севу в плечо, и тот свалился на руки к Чибису.

— Не ссать, братва! Слушай меня. Автоматчики — х...ня. Никто без приказа стрелять не будет, тут больница, а не зеленка, ясно? Пуганут в воздух, да я его один разоружу!

— А кто сказал, что нет приказа? — крикнул студент Михалыч.

— Не вносить разброд! У кого очко играет, лезьте под шконку и сидите, как тараканы! Да я, если что, первый шамальну, чтоб ты знал, студент!

— Из чего же? — негромко спросил Энгельс.

— Найдется, не твоя забота.

— Большой арсенал-то, а, Безухий? Где хранишь?

Петя побагровел. Энгельс спрятался за Чибиса, как за граблю какую-нибудь.

— Слышь, братва, недомерки сомневаются, что у прапора Сахронова есть оружие. А ты знаешь, Карлсон, что бывает с недомерками и прочими Фомами неверующими, когда прапор достает свой боевой ствол?

— А чего Фома-то? — взревел циклоп.

Кукушкин ласково тронул его за плечо:

— Это не о тебе, Коля, поговорка такая просто... — и шепнул ему на ухо: — Хочешь, пойдём покурим? Этот Гайд-парк надолго...

— Парк чего? — Фома выкатил на Эдика воспаленный глаз.

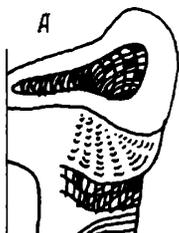
— В смысле — базар... Хочешь? У меня есть заначка, пойдём?

Они незаметно выбрались из толпы и скрылись в палате.

Через минуту следом вбежал Безухий и принялся выбрасывать из своей тумбочки незначительные пожитки. Не найдя, чего искал, дико матерясь, схватил тумбочку и стал ее вытрясать, отчего вылетел ящик и повисла на одной петле дверца. Безухий полез под матрас, сбросил на пол постель, заметался по палате...

— А вы что тут делаете, сволочи? Где мой пистолет?

— Не на Большом Каретном? Нет? — В дверях стоял малыш Энгельс, за ним маячил Чибис.



Безухий нуриевским прыжком подлетел к Севе, за грудки поднял в воздух.

— Спер, гнида? — просипел без голоса. — Открывай, сука, чемодан, убью!

Тут вперед выступил самоубийца Чибис и с улыбкой спросил:

— А в параше не смотрел?

— В параше? — Петя выпустил Энгельса, и тот с неожиданно тяжелым стуком пришел, как говорят циркачи, на ноги. — В параше, говоришь? Хороший вопрос. Фома! Сунь-ка Холеру в парашу, пусть поплавает. Ну? Чего уставился, криворожий?

— Не надо, Коля, Коленька, не надо, — шептал обмерший тенор, но Фома встал, шевеля плечами, подошел и вдруг даже без размаха ткнул Безухого в глаз, отчего тот упал практически бездыханным.

— Нельзя дразниться «криворожий», — сказал поучительно и вернулся к Кукушкину на койку, где, присев рядом с влюбленным, раскурил наконец коричневую сигаретку с длинным сладким фильтром, которыми Эдик баловался иногда в мирной жизни и припас на черный день. Самолюбивый Фома повертел в пальцах красную пачку, прочел по слогам: — «Но-пе-у»... Это что ж за но-пеу такое?

— Но-пеу... — нежно засмеялся Кукушкин. — Хани, Коля, сладкий...

— Точно, сладкая... — ухмыльнулся циклоп, сладко затягиваясь.

...А ранним утром, еще до завтрака (если можно так выразиться), пришел сам Касторский.

— Сигнализировали, — пропищал главный, — что ночью была тут у вас, будем говорить, буза. Не забрали ваше драгоценное дерьмо? Ах, какие мы нежные. Вот у героя, я вижу, фингал. Имело место рукоприкладство? Или сам, будем говорить, ёб...нулся?

— Сам, — скрипнул в тишине зубами Безухий.

— Значить, так. Если повторится, всех перевозжу на спецдиету по типу карцера. Сухари с водой, и никакой мобильной связи. Курортники. С вывозом фекалий пока придется обождать. Услуга подорожала, а в стране кризис. В курсе? Будем, значить, изыскивать резервы. Покаместь стараемся испражняться экономней. Чибисов, как понял?

— Не понял, — буркнул Чибис, которого от холерной вакцины, а может, и просто с голодухи заперло наглухо и безнадежно, что в сложившихся обстоятельствах было не так уж и плохо.

— Ну и славно, — подытожил Платон и, дико подмигнув Фоме, удалился.

То ли догадался об авторстве фингала, то ли импонировала ему фашистская символика Колиного татуажа... Чужая душа — потемки.

— Спрашиваю последний раз. Выпишешь Всеволода или нет?

— Раиса Вольфовна, — чуть не плакал Касторский, — не мучай ты меня! Попрут же в три шеи, если нарушу карантин! Ну, сколько ты хочешь?

— Знаешь, Платоша, полвека на свете живу, такую вошь тифозную, как ты, первый раз встречаю. Ведь меня, ты в курсе, Волчицей зовут. Волчицей, а не крысой. Тебе-то, я понимаю, с крысами привычней... Но волки, Платон Егорыч, и, кстати, люди не жрут себе подобных.

«Люди? — подумал, но не решился сказать Касторский. — Это кто же здесь люди? Уж не мы ли с тобой, Раиса? И какие же это люди, Раиса Вольфовна, не жрут себе подобных? Что-то я таких не знаю. А я пусть и вша тифозная, но до петли еще никого не доводил...» Громкая была история. Лет пять назад беспощадно вцепилась Волчица в одного мясокомбинатского миллионщика. Сначала на взятках выпотрошила сволоту, как рождествен-

ского гуся, а потом, она это любила, все равно довела до суда. Вкатили ворюге, но не как ворюге, а как поставщику чернобыльского мяса — пожизненно. И повесился мясник, удавился в камере. «Или, может, этот торговец смертельной говядиной — люди?»

Волчица действительно чем-то смахивала на волка: острыми ушами на коротко стриженной, с проседью, голове, широкими скулами, зубами, желтыми от непрерывного курения, загнутыми когтями, покрытыми кровавым лаком... Щупловатая, лобастая, с крупным носом и ртом, большими руками и ногами, была Раиса, конечно, не замужем. Одинокая степная Волчица, урод милейшего и добрейшего семейства.

Глубоко затянулась и, выпуская дым через нос, прищурилась на Касторского широко расставленными глазами.

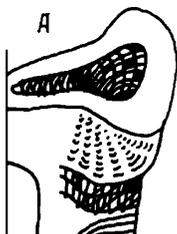
Касторский тоскливо изучал небольшой участок парка за открытым окном. Тополиный пух летел в кабинет, цепляясь за серый ворс Волчицыной шкуры. Щелчком Раиса сбила пушинку с лацкана.

— Закрой окно, ненавижу эту дрянь. — Она заслонила лапой и громко чихнула.

— Аллергия? — Касторский криво ухмыльнулся. — Ой, как понимаю вас, Раиса Вольфовна.

— Тоже страдаешь? — Волчица утерла слезы мужским платком.

— Страдаю, ох и страдаю... У меня на кошек. И на собак. Вообще на зверей. В зоопарк с внуком, верите, пойти не могу...



— Хамишь? Ну-ну. Стало быть, не выпустишь брата?

— Пока карантин не снимут, выписать никого не имею права, — скучно подтвердил Касторский, глядя в окно.

— «Снимут»! Кто ж его, скажите на милость, снимет? Кто здесь, кроме тебя, командует, в твоей сраной шарашке?!

— Вы прекрасно знаете, Раиса Вольфовна, что я, — Касторский в упор взглянул на Волчицу, — как и вы, человек, будем говорить, подневольный. У всех у нас есть начальники. И на вас, как и на меня, значить, управу найти не так уж трудно.

Волчица поднялась. Хотелось бы, конечно, сказать, что не она, а шерсть у нее на загривке поднялась дыбом, но это было бы все же чересчур... по-стивен-кинговски. Хотя и недалеко от реальности. В каком-то смысле Раиса озверела.

— Очень хорошо. Но запомни, Касторский. С огнем играешь. Я на тебя таких псов спущу — волки котятами покажутся. Сама отслежу, чтоб рубля левого не взяли, на одних штрафах без штанов останешься. А с твоими, друг сердешный, нарушениями не то что из этого кабинета пулей вылетишь — под суд пойдешь.

«Стукнул братишка, — с тоской понял Касторский, и, как живой, явился ему толстый висельник, хотя ни разу Платон Егорыч того мясника не видел. — А чего я, дурак, хотел? Ведь и отчество знал, и фамилию... Да, подобралась палатка... Чибис этот... Вояка безухий... А кого надо — и не

заметил, м...к старый! Отпустить? Нет, никак, будем говорить, невозможно. Так — еще неизвестно. А так — полечу во сне и наяву, к бабке не ходить... Ах, Касторский, Касторский, сто раз стрелянный, а идиотом был, идиотом остался... И некому за тебя заступиться, Платоша...»

Но зря наговаривал на себя Платон Касторский. Оставались у старого негодяя из прежней жизни кой-какие резервы, не использованные до сего дня.

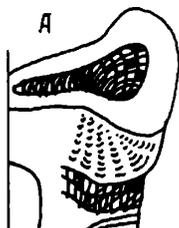
Думается, никто не будет сильно удивлен, если намекнуть, что в далеком прошлом служил Платон Касторский врачом в некой больничке. Был он там уважаем и среди растратчиков, и среди щипачей, и среди угонщиков, и виновников кровавых ДТП, и поездных воров «на доверие», и воров в законе, и мелкого хулиганья со сроками до двух лет. Особенно стремились перележать у него насильники, потому что жизнь их в камере была нестерпимой: ненавидят эту публику на зоне, брезгуют ими и презирают как последних парий. Только убийцы и крокодилы-наркодилеры не проходили по его ведомству, поскольку содержались в санаториях усиленного режима.

Когда Волчица укатила на своей блохе готовить расправу, Платон Егорыч кой-чего обдумал, кой-кому позвонил и приказал водителю ехать совсем не домой, а в противоположную сторону, в область. На шоссе велел высадить его у поворота на проселок и отпустил верного Валеру.

— Не боитесь, Платон Егорыч, один-то? Дело к ночи...

71

Е Р Я



— Какая ночь, Варелик, света, будем говорить, еще часа на три. А мне свет-то и не больно нужен. — Касторский подмигнул.

«Ого, — удивился шофер. — Мой-то... Ай, ходок, не ожидал!»

— Заехать за вами?

— Понадобисься — на связи.

— Есть на связи, Егорыч, — радостно откликнулся Варелик и укатил в сиреневый туман.

Касторский прошел метров двести, не замечая нежного деревенского вечера, тепла, отдаваемого гравием прохладному воздуху, натуральных запахов сена и парного молока, влажного ветерка с какой-то невидимой речушки... Остановился перед высоким металлическим забором. Позвонил.

В доме на мониторе камеры слежения рассмотрели его тучную фигуру в светлом пиджаке и парусиновой кепке, и перед Касторским щелкнул замок. Железная дверь медленно отъехала в сторону.

Дом поразил Касторского не столько размерами, сколько соразмерностью. Такие виллы он видел только в кино про не нашу жизнь.

Косая крыша скрадывала размеры оштукатуренного трехэтажного фасада, большие, врезанные в зеленую черепицу зеркальные окна как бы растворяли дом в отраженном небе и соснах. По бежевой штукатурке вился начавший краснеть плющ и дикие розы, огибая окна высотой в два этажа. От массивной дубовой двери, даже на вид тяжелой, спускалось полукруглое крыльцо с низ-

кими и широкими мраморными ступенями, расположенными чуть со смещением относительно друг друга.

На крыльце ждал хозяин.

Касторский сдернул кепку и непроизвольно принагнул бегемотский корпус.

В англазированном господине (седые усы щеткой, замшевая домашняя куртка, вельветовые брюки, серебристый ежик, трубка в желтоватых длинных пальцах) трудно было узнать Филю Попкова по кличке Гнида, сидевшего в 1979 году за изнашивание малолетки.

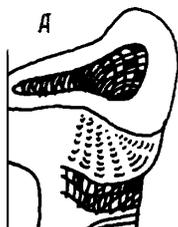
Миновали высокий зал с лестницей на второй этаж, — и утонули в пышном ковре шестиугольного, видимо, кабинета с книжными шкафами красного дерева по пяти стенам. Шестая, целиком стеклянная, выходила в огромный старый сад.

— Что будешь пить, Платоша? — ласково спросил хозяин, усадив гостя в кресло, обитое лайкой цвета экры, о чем не подозревал Касторский, цинично подумавший: «Ишь ты, кожа-то как у той небось малолеточки...»

— Да водочки, наверное, Филипп...

— Филя, Платоша, для тебя всегда и только Филя. А что водочки — это ты прав, нет ничего лучше после семи. Я-то, грешен, привязался вот к коньячишку, и хоть ты меня режь.

Касторский, если честно, тоже не отказался бы от этого «коньячишки» в низкой пузатой бутылке с буквой N, выдавленной в зеленом стекле. Но постеснялся. К тому же и поляну Филя накрыл знаменитую: паюсная икра, осетрина, малосоль-



ный огурчик, какая-то крупная фиолетовая ягода, похожая на сливу, но с острым запахом.

— Угощайся, Платоша, греческие оливы, вчера сын привез с Крита.

— У вас... у тебя сын?

— И дочь. Красавцы. И жена красавица. Третья, правда. Зато молодая. Я ж, ты знаешь, люблю молодежь... — Филя мило рассмеялся, показав роскошные зубы.

«Смотри-ка, нахал какой, намекает! — удивился Платон Егорыч. — Понимает, что помню, не строит целку. Молодец».

— Как же ты меня нашел, Платон? Жаль, денька бы на три раньше — попал бы на юбилей. Ох и праздник мои закатили, с салютом, с воздушным шаром... Шестьдесят человек — ровно по человечку на год! — опять блеснул голубоватым фарфором любитель молодежи.

— Пыня дал наводку. Помнишь Пыню-то?

По лицу Попкова пробежала тень.

— Не помню, — отрезал.

«Помнишь, Гнида, по-омнишь... Такое не забывается. Кто зубы-то тебе, тридцатилетнему ухарю, долотом выбивал по одному? Не помнит он...»

— Ну хорошо, Платон. К делу? Ты ж не просто так тридцать лет спустя приехал водочки попить?

Касторский помолчал, собираясь с духом.

— Баба одна есть... Как тебе сказать... Не баба — волчица в натуре. У нее и погоняло такое. Хочет меня уечь.

— Куда это?

— Туда, Филя, туда!

— И что, есть основания?

— При желании, будем говорить, найдутся... — уклончиво ответил властелин дерьмового царства.

— То есть выше крыши, — утвердительно кивнул Попков. — Ты сейчас где жопу-то греешь?

— В инфекционной...

— А, ну тогда понятно. Это не в той, где холера?

— Откуда?.. — вытаращился Касторский.

— От верблюда. Два дня все каналы трещали. Знаешь, как они любят страху-то нагнать: «Наши источники сообщают... два случая летального исхода, принимаются меры... главврач отказался прокомментировать...» Я фамилию-то не расслышал, а это ты, стало быть, у нас враг гласности! Мило, мило.

— Вот сволочи! — Касторский вспомнил телегруппу, которую взащей погнали с территории неделю назад. — Откуда их только принесло?! Два летальных исхода, значить... Источники! Да я в суд подам!

— Так что твоя баба?

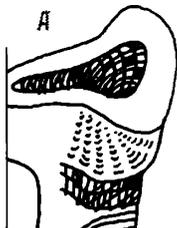
— Ну, допустим, мне никто никаких летальных исходов не пришьет, бред какой-то, — не слушал Касторский. — Но как это пускают в ихний эфир? И что еще за источники? Ты объясни мне, Филипп!

— А у бабы другие аргументы? Чего она хочет?

— Она инспектор!

75

Е Р Д



— Это я понял. Чего она хочет, ты можешь мне сказать?

— Чего она хочет — не важно. Она бабок НЕ хочет!

— О, это серьезно. То есть чисто личное?

— Вот именно.

— И чем я могу помочь?

— Филя! Ты прости меня, но мне Пыня сказал...

— Я не хочу слышать об этом пидаресе.

— ...что у тебя... ну как бы... что ли, будем говорить, есть людишки... Короче, ее надо убрать, и очень срочно! Любые деньги!

Попков вскочил с кресла и вынул из кармана куртки какой-то прибор, похожий на рацию:

— Сейчас мои пацаны из тебя рыбу фиш сделают, сука!

— Филя! Не сердись, вспомни, кто тебе помог, когда *из тебя* чуть рыбу фиш не сделали! Ты вспомни, к кому ты прибежал просить политического убежища? Филя!

— Хорошо, не будем о грустном. Кто старое помянет... Извини, я должен посоветоваться с одним толковым парнем...

— Каким еще парнем? Не надо ни с кем советоваться, Филя, прошу тебя!

Филипп Константинович (потому что надо же шестидесятилетнего человека называть как-то прилично) подошел к стеклянной стене и сделал знак кому-то, кто смотрел на него из сада. Платон, да, скорей всего, и сам Филипп не видели никого.

Через несколько минут в кабинет нехотя, нога за ногу, вошел мальчик лет десяти, очень худой, с большими жестокими глазами.

— Мой внук, Филипп Второй.

Мальчик кивнул.

— Скажи, Филипп, — завершал вдруг Попков пронзительным голосом. — Помогать мне этому человеку или нет?

Мальчик на короткое мгновение впился в Касторского страшными глазами, отчего они сверкнули красноватым огнем. Но тут же погасли. Он поковырял большим пальцем босой ноги ковер и опять кивнул. И, не прощаясь, не проронив ни слова, так же лениво вышел.

— Он глухой, — сказал Попков, как будто это что-то объясняло, и снова подошел к окну.

— Ты по всем вопросам с ним советуешься? — усмехаясь, спросил Платон Егорыч.

— Да, — серьезно ответил Филипп Первый. — По всем. — Не оборачиваясь, заметил: — Уже поздно. Тебе пора.

— Да... конечно... — растерялся Касторский.

— Тебя отвезут.

— А... Мое дело?

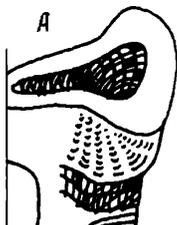
— Энгельс Раиса Вольфовна. Усиевича, шесть, квартира... Короче, поезжай, Платоша.

Платон не помнил, как доехал до дому. Утром, еще не совсем проснувшись, изо всех сил захотел, чтобы все вчерашнее было сном.

В спальню вбежала жена в бигуди и распахнутом халате.

77

Е Р А



— Платоша! — кричала она. — Платон! Сейчас передали... Твою Раису...

— Что? — спросил Касторский шепотом, не открывая глаз.

— Нашли в подъезде, — тоже перешла на шепот Нина. — Сегодня рано утром. С двумя ножевыми...

— Ножевыми — что?!

— Ранениями... Второе смертельное. — Впечатительная Нина заплакала.

На смерть сестры Сева среагировал примерно как Безухий — на пропажу пистолета. Он замкнулся в себе, два дня лежал не вставая, ни с кем, даже с Чибисом, не разговаривал.

Через два дня пришел Касторский, неожиданно присел к Энгельсу на койку, сказал странным, то есть нормальным мужским голосом:

— Знаю о вашем несчастье. Сочувствую.

— На чёрта мне ваше сочувствие, — отрезал Сева. — Отпустите на похороны, будьте человеком.

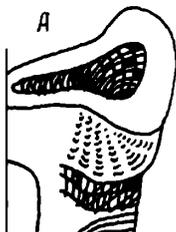
— Не могу, Всеволод Вольфович. Не имею права, — потупившись, отвечал убийца.

Убийца, а кто ж? Он и сам про себя думал именно этим словом: «Я — убийца. Приехали».

— Вы же — разносчик инфекции. Я отвечаю за жизнь людей. Извините, дорогой, не могу никак.

Сева отвернулся к стенке.

Касторскому было очень плохо. Не следует думать, что плохие люди, а Касторский был, конечно,



человечишко неважный (хоть и не однозначный), дела пакости, сохраняют душевное равновесие. Не преувеличивая, можно утверждать, что его терзала совесть. До такой степени, что велел Варелику отвезти его до Манежной площади, откуда тайком дошел до церкви Вознесения на бывшей Герцена, ныне по старинке Никитской, и просил об исповеди.

— Не обессудьте, — развел руками молодой румяный батюшка с огромным наперсным крестом и пышной бородой. — Сегодня отпущение грехов закончено. Я уж и облачение снял.

— Да будьте же человеком! — воскликнул измученный Платон.

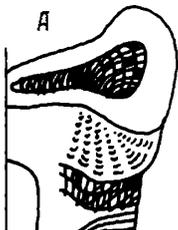
— Я бы рад. Но сейчас у нас трапеза. Завтра приходите часам к девяти на службу, я вас исповедую. Заодно и причаститесь.

За этой сценой, показывающей, как бюрократизм разъял и разложил общество во всех его институциях, наблюдала, как ни странно, Алиса. Как это ни странно, Алиса была довольно религиозная девица, о чем мало кто догадывался, и являлась прихожанкой храма Вознесения Господня на Никитской (Малое Вознесение в отличие от Большого у Никитских ворот, а в чем по большому счету разница, Алиса сказать затруднялась, поскольку не обращала внимания на размеры храмов. Про себя же привыкла считать смысл Малого Вознесения как некую репетицию Большого). Она часто посиживала там в уголку на стуле, издали любуясь на икону святых Петра и Февронии без всякого общественно полезного дела. Она даже не моли-

лась толком, поскольку серьезная молитва требует большой работы души и мысли, а трудиться и думать Алиска не очень любила. Она даже работу себе нашла абсолютно пустяковую и, прямо скажем, дурацкую: ходить по квартирам и впаривать жильцам какой-то зверский пылесос, который чистит с такой неистовой силой и эффектом, что прямо вплоть до обретения вечного блаженства. Эти ее набегии назывались «презентацией» и не приносили ей ровно никакого дохода, за исключением тех редчайших случаев, когда особо впечатлительные жильцы по своей невероятной глупости и от шальных денег приобретали ее продукцию. Тогда Алиске доставался какой-то там процент. Но чаще люди не пускали Алису с ее рекламками дальше порога, и она, ничуть не обижаясь и не теряя душевного равновесия, шла в церковь Малого Вознесения и отдыхала себе на стуле вдали от суеты и торговых путей. Возможно, это и есть проявление истинной веры. По крайней мере в силу мощей святых супругов она верила больше, чем в силу своего пылесоса, реально высасывающего всю нечисть на молекулярном уровне. Хотя стоило бы задуматься над парадоксальной святостью князя, который, прежде чем жениться, дважды обманул излечившую его деву Февронию.

Кузя и Чибис, конечно, знали, что их подруга не чужда церкви, но, будучи отпетыми агностиками, надо отдать им должное, никогда на эту тему с ней не говорили.

Поставив свечку и помолившись святому Пантелеймону-целителю за Толика, Алиса направля-



лась к выходу из храма, где случайно и подслушала, как отца Олега упрощивает дядька из больницы. Она моментально узнала его: «Господь Бог», прости Господи.

Алиска страшно разволновалась, не зная, как использовать эту встречу, выскочила, даже забыв перекреститься, и немедленно принялась называть Кузе, который жил буквально за углом, на Брюсовом. Верный Кузя явился, как лист перед травой, и вдвоем они последовали за Касторским, понятия не имея, зачем это делают.

— У него явно совесть нечиста, если так прищипило исповедаться, — сказал догадливый Кузя. — Знаешь чего? Давай позовем его выпить.

— Обалдел ты? — испугалась Алиса. — Как это — выпить? Ни с того ни с сего, на улице... Что мы, бомжи, что ли?

— Вот именно, что не бомжи. Зачем на улице? Мы в гости его позовем. И расколем. Я ж писатель, психолог, видно же, мужик не в себе. Да на нем лица нет! Человеку в таком состоянии обязательно надо выпить, причем именно с незнакомыми. По себе знаю.

Позиционировал себя как писателя Кузя на том основании, что уже много лет сочинял грандиозное исследование «Лев Толстой как зеркало русского пьянства», утверждая, что «Война и мир», «Анна Каренина» и особенно «Живой труп» дают бесценный материал для раскрытия этой нетривиальной темы. «Что я, хуже Ленина? — говорил он. — Уж, во всяком случае, к национальному потреблению алкоголя Лев Николаевич имел боль-

ше отношения, чем к революции». Служил Кузя в своем же доме диспетчером по лифтам, сутки через трое, так что прелестная работа позволяла ему тягаться хоть с Лениным, хоть с Толстым, хоть с девой Февронией.

Не слушая возражений, Кузя догнал медленно бредущего убийцу и тронул за локоть.

— А? — дико выпучился Платон.

— Господин Касторский? Я не ошибаюсь? — светски начал писатель.

— Вам чего? — прохрипел тот с ужасом.

Кузя много чего знал про Касторского от Толяна. И прежде всего о склонности главврача к «русскому пьянству».

— Платон Егорыч, прошу прощения, позвольте напомнить: Кузнецов Владимир Иванович, учитель словесности. Моя жена, — он подтащил упирающуюся Алису. — Алиса Александровна. Певица.

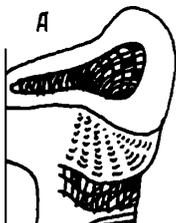
(Что отчасти было правдой: в свободное от церкви и презентаций время Алиса пела в хоре народного университета искусств, так как песня, не хуже сидения в храме, помогала ей жить и строить свои непростые отношения с жизнью во всех ее разнообразных проявлениях.)

— Чего вам надо?! Пропустите! — Касторский пытался обогнуть парочку, однако Кузя, как казалось обезумевшему от страха Платону, качался перед ним в воздухе, не давая пройти по узкому тротуару.

— Платон Егорыч, да не волнуйтесь вы так. Я узнал вас сразу же. Мы с вами... — Кузя на секун-

83

Е Р Д



ду задумался. — Мы отдыхали с вами, не помните?

— Где это? — Касторский спросил подозрительно, но несколько успокоившись.

— В Сочи, — ляпнула вдруг Алиса, и Кузя больно сжал ее руку.

— Ах, в Сочи... В 2005-м, что ли?

— Ну да. — Кузя облегченно вздохнул. — В этом, в санатории, о господи, вот стал забывать названия...

— Фабрициуса?

— Ах, ну конечно! Вот голова дырявая! Вся память на Толстого уходит...

— Хорошее место. Ванны отличные. У меня ведь, если помните, подагра, мучение страшное...

— А у меня остеохондроз, — как всегда, сказала правду Алиса. — Мне очень массажи помогли.

— Странно, что я вас не признал... Такая интересная женщина, — галантно пропищал Касторский. Он уже совершенно пришел в себя, и ему показалось, что этот полный симпатичный учитель и вправду ему чем-то знаком.

— Знаете, — Алиса мило улыбнулась, — от одежды ведь многое зависит...

— А там, на юге-то — какая одежда? Одни трусы! — Касторский хихикнул, и Кузя с Алиской залились смехом.

— Может, отметим встречу, а, Платон Егорыч? Мы тут рядышком совсем живем...

Касторский было заменжевался, что неудобно так вот сразу в гости, он и не одет, и с пустыми руками...

— Позвольте, я хоть что-нибудь куплю!

— И не позволю, и не просите! — улыбался

Кузя. — Мы с женой так рады встрече, уж вы позвольте вас пригласить!

— Да-да! У меня обед еще горячий, — вошла в роль Алиса, и Кузя снова дернул ее за руку.

— Ты пойдй, Алечка, распорядись там, а мы с Платон Егорычем зайдем за хлебом. Не возражаете?

Кузя кинул Алиске в раскрытую, по обыкновению, сумку ключи, и та побежала варить картошку.

...Сидели очень хорошо. Говорили о Толстом, о русском пьянстве... Есенин, Фадеев, Олег Ефремов, та же Фурцева...

— А взять Мусоргский — уж на что гений, так, говорят, помер от пьянства, — заметил Касторский.

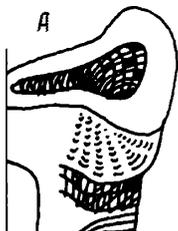
Незаметно перешли на Чайковского, а там и на холеру...

Тут Касторского и понесло. Расслабившись, как и положено пьянчужке, с грамм трехсот водки на почти голодный желудок (картошка с килькой и огурцами и бутерброды с остатками сала, небогато живут учителя), Платон завел жалобную речь о своей больнице и ее хулиганском контингенте.

— Так и норовят сбежать. У одного сестру зарезали...

— Как — зарезали? Медсестру?

— Да не медсестру, а сестру обычную, родственницу. Ну как — как режут людей в подъездах...



Отпусти его на похороны... А как пушу? У меня ж в его палате холерный лежит. Так они бунтовать задумали. Чуть больницу не разнесли. А на меня телевидение клеветает, что летальные исходы. А ведь это вранье, веришь, Вова? Сколько работаю, один только и помер, аудитор, так это когда было! — Касторский в отчаянии хлопнул еще рюмарий и сразу без передышки следующий.

— А вдруг не холера, Платон? Ты подумай, бывают же ошибки! — Кузя задушевно заглянул Касторскому в пьяные глаза. — Вдруг ты зря этот карантин затеял? Нет, ты вдумайся: человек, может, здоров как бык, а ты его взаперти держишь. А вдруг он с собой покончит? Это ж на твоей совести будет, Платоша! Ты людей убивал когда-нибудь?

Платон Егорович заметался глазами, и взгляд его упал на Алису, что сидела, скорбно подперши щеку кулачком, и увидел он вдруг сияние вокруг ее головы: солнце в окне садилось и застыло на миг позади Алиски золотым нимбом. Рухнул тогда Касторский на колени и закричал, протянув к перепуганной Алисе руки:

— Прости, матушка, прости меня, грешника क्रомешного, беспредельного! Убил я ее, убил Волчицу эту проклятушую! Нет мне прощения, матушка, Пресвятая Дева...

После чего повалился на бок, всхлипнул и захрапел.

Утром Кузя загрузил похмельного Касторского в свою древнюю «шестерку» и, не став будить

Алису (от пережитого та не спала до рассвета), отвез его в больницу имени Майбороды, дорогу до которой он знал как свои пять пальцев. Охранник удивился, увидев главврача не на Варелике, но, разумеется, пропустил. И Кузя зарулил на территорию, и Касторский вынужден был угрюмо пригласить нового приятеля к себе в кабинет.

Е Р Д

10

Убийца главного инспектора городского санэпиднадзора Раисы Вольфовны Энгельс, известной среди коллег как Волчица, улик не оставил. То есть буквально ни одной зацепки, как если бы работал не только в перчатках, но и в стерильных бахилах. Соседи ничего не слышали, никого не видели. На трупе был домашний халат, рядом — мусорное ведро. То есть Раиса, без сомнения, вышла ночью к мусоропроводу. Ранена в спину и добита в сердце. Жила одна, с соседями не общалась. В день накануне убийства ездила, как сообщили на службе, по объектам, куда именно — не докладывала.

Толковое следствие пошло по хрестоматийному пути «ищи, кому выгодно». Выгодно могло быть многим. У кого только не стояла Волчица костью в горле: рынки, общепит, медицинские учреждения, да мало ли! Разумеется, немедленно обнаружилось, что в одной из клиник лежит брат убитой. И что? Да ничего. По крайней мере, есть с чего начать.

Когда Касторский похмелялся коньячком с учителем словесности Кузнецовым Владимиром Ивановичем, в кабинет зашла секретарша Фаина, глаза как оловянные плоски.

— Из уголовного, — и посторонилась изумленно, пропуская молодого человека с раскрытой ксивой в вытянутой руке. «Начинающий», — подумал Платон с каким-то сонным ощущением «будьчто-будет» на дне души.

«Алкаш», — подумал перспективный следователь Буркин, успев зафиксировать как бы испарившуюся бутылку. Быстро поднятое, говорят в Одессе, не считается упавшим. Но быстро убранное считается, однако, замеченным, и непьющий Буркин испытал к Касторскому интуитивную неприязнь.

Касторский нажал кнопку на селекторе и сказал с нажимом:

— *Еще чаю, Фаечка. С лимоном.*

Следователь без приглашения уселся напротив Кузи за длинный стол, в традициях канцелярского дизайна образующий со столом главного букву «Т».

— Несколько вопросов, — Буркин покосился на Кузю, — желательно без посторонних.

— Владимир Иваныч...

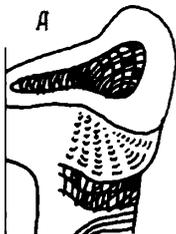
— Ничего-ничего, Платон Егорыч. — Кузя обольстительно улыбнулся. — Я как раз хотел пройти в отделение...

Платон опешил:

— Зачем?.. Кхм... То есть... ну да... конечно... халат... там, в приемной... Но пропуск...

89

Е Р Д



Кузя просиял лучшей из своих улыбок и протянул следователю руку, которую тот неохотно пожал.

— Извините, господин...

— Буркин, — буркнул Буркин.

— Кузнецов, академик РАМН. Позвольте еще секунду. Платон Егорыч, так вы пропуск мне выпишите, и я начну... консультацию, пока вы с господином Буркиным... беседуете. Лады?

«Боже, какой бред», — подумал Касторский, словно под гипнозом выписывая Кузе пропуск по всей форме.

— Благодарю, коллега, — кивнул Кузя. — Надеюсь, вы не слишком задержитесь. У меня через два часа совещание в академии... Всего доброго, товарищ Буркин.

Кузя, не попадая в рукава халата, мчался к знакомым дверям. В вестибюле, ткнув в нос толстой дежурной пропуск, сказал повелительно:

— Распорядитесь, сестра, кто-нибудь... у меня в четвертом отделении профессорская консультация. Проведите меня, будьте так добры.

— А Платон Егорыч? — удивилась сестра. — Без него не положено...

— У Платона Егоровича важная встреча. Он присоединится позже. Поторопитесь, уважаемая, я спешу.

— Кястас Ёныч! Товарищ Лапонис! — запрочитала толстуха в телефон. — Тут человек от Платон Егорыча, профессор, говорит, консультация в четверке вашей, а у Платон Егорыча встреча, а как пуцу, Кястас Ёныч...

Через минуту спустился сокрушительный амбал и раскатисто молвил с акцентом:

— Что могу помочь?

— Академик Кузнецов, — протянул ладошку Кузя. — Что за бардак, коллега?! Я приглашен коллегой Касторским для консультации и не могу, черт возьми, пройти! Что тут, ей-богу, тюрьма, ружимное предприятие? Пройдемте, у меня времени в обрез!

— Консультация? — Кястас пошевелил белесыми бровями. — Шеф не ставил меня на известность... Позвольте, пожалуйста, аппарат, сестра.

Из трубки донесся гулкий и слегка истерический голос Фаины:

— Не велено ни с кем соединять!

— Хорошо, профессор. На моя ответственность. Идите, пожалуйста, за мной.

Вошли в коридор, дохнувший страшным запахом залитого хлоркой пристанционного сортира. Кузя воскликнул:

— Ну и амбре у вас тут, друзья! Как вы живете!

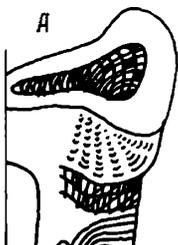
— Нормално. Какая палата, пожалуйста?

— Принюхались? Ладно. — Кузя достал из кармана блокнотик, важно полистал. — Большой Чибис. Аномальное развитие холеры Бенгал.

— Аномальное? — Литовец подергал себя за ус. — Болного знаю. Аномальности не наблюдал.

— Плохо, коллега. А вот ваш шеф наблюдал. Куда идти?

Заведующий довел Кузю до палаты, пропустил вперед:



— Я вам нужен, пожалуйста?

— Как угодно, — отрывисто отвечал Кузя, всем своим видом подчеркивая, что в помощниках не нуждается.

— Очень хорошо. — Кястас склонил из поднебесья голову. — Тогда я, пожалуйста, занимаюсь своей работой.

— Валяйте, коллега, — с насмешливой улыбкой поклонился и Кузя. — Это прекрасно, когда есть чем заняться.

Все складывалось гениально. Кузя молился, чтоб суровый опер Буркин, зачем бы он ни пришел, задержал Касторского подольше.

Палатная вонь едва не сбила Кузю с ног. Чибис, узнав друга, упал лицом в подушку, чтоб не заорать. Но тот, нахмурившись, надменно огляделся и спросил самым строгим тоном, на какой был способен:

— Кто у нас, — он заглянул в блокнотик, — большой Чибис? Лежите, лежите, голубчик. Добрый день. Будем знакомы. Я профессор Кузнецов, Владимир Иванович. Да-а... Действительно, крайняя степень истощения... Как себя чувствуем, голубчик? Будьте добры, молодой человек, — Кузя с любопытством посмотрел на Энгельса, очень похоже описанного Толяном, — дайте-ка мне стул.

Он тыкал Толику под ребра, мял живот, своей любимой ручкой-фонариком светил в глаза, оттягивал веки...

— Ну что ж, голубчик, весьма плачевно. Скле-ры бледные, язык обложен, живот вздутый... Запоры? Плохо. Не нравитесь вы мне, Анатолий Игнать-

евич. Ваш доктор прав. Имеет смысл перевести вас к нам в клинику... Там и уход получше, и питание, и медикаментозное лечение. Собирайтесь, голубчик.

— Что? — Толик смотрел на Кузю как на бога. — Прямо сейчас?

— А чего ж тянуть? У вас, голубчик, дистрофия и, возможно, непроходимость кишечника. Рвоты, обмороков не было? Будут. Запоры при холере, дружок, симптом очень неблагоприятный... Боюсь, потребуется операция...

Кузя еще минут пять нес такую же ахинею, к которой внимательно прислушивалась вся палата, по-новому взглянувшая на доходягу Чибиса. Похоже, Холера дотягивал последние денечки.

Пока Толик стремительно одевался и упихивал в рюкзачок жалкий скарб, Кузя лихорадочно соображал, как же им выйти из запертого отделения, чтоб не объясняться по возможности с громилой-литовцем.

— Ну, будь, Толян, — подошел Безухий. — Прости, если что...

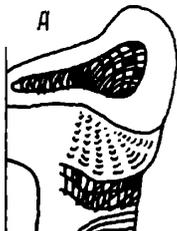
— Пока, Стечкин... — Энгельс чуть не плакал. — Звони... Правильный ты мужик...

— Счастливо, братцы! — Чибис сиял. На умирающего он был похож не больше, чем Кястас Лапонис на Дюймовочку.

В этот миг дверь открылась, и великан объявил с порога:

— Болной Энгелс, к главному врачу!

Сева кубарем слетел на пол и полез под кровать.



— Вы куда, болной? — удивился Кястас.
— За чемоданом, — прокряхтел из-под кровати
Энгельс. — Вещи собрать.

— Вы пакуете ваш багаж, чтобы выходить из
палаты? Всегда?

— Так мне же с вещами, разве нет?

— Сожалею, болной. Главный врач не говорил
багаж. Вас ожидают на беседу. А вы, профессор,
заканчивали вашу консультацию? Давайте я выво-
жу вас вместе с болным Энгелс. А вы куда, болной
Чибис? Вас никто не пригласил.

— Больной Чибис должен пройти со мной к кол-
леге Касторскому. Дело не терпит отлагательств.

— Главный врач не ставил меня на известность
относительно болной Чибис. Он не намеревался...

— А я намереваюсь! Я оформляю перевод боль-
ного Чибиса в клинику, соответствующую его со-
стоянию! И ставлю вас в известность! Вы здесь все
прямо одичали!

— Не надо кричать на меня, профессор. Я не
одичал. Я знаю, что значит «одичал». Когда рус-
ские брали Лиетуву...

Разгневанный Кястас, грохоча «гранкой», от-
пер Сезам и, отбросив обалдевшего охранника,
зашагал по направлению к административному
флигелю. Кузя, Энгельс и Чибис, вылитая свита
Воланда, летели за ним.

...Касторский честно рассказал Буркину, что уби-
тая Раиса Энгельс накануне своей трагической
гибели была у него и ходатайствовала о выписке
своего брата, в чем он, Касторский, согласно по-
ложению о карантине в лечебных учреждениях, ей

отказал. Насколько ему известно, Всеволод Энгельс часто общался с убитой по сотовому телефону, мобильную связь карантин не запрещает. Он, Касторский, не исключает, что, бывая в больнице с инспекцией (дважды за последний квартал), убитая общалась с братом лично. Карантин установлен пятнадцать дней тому назад, и до этого контакты с больными были хотя и нежелательны, но допустимы. Больше он, Касторский, по данному делу ничего добавить не может. Поговорить с Энгельсом Всеволодом? Под личную ответственность товарища Буркина. Контакты с больными во время карантина, будем говорить, чреваты распространением инфекции. В отделение пустить товарища Буркина он, Касторский, не может категорически, но пригласить Энгельса сюда, так и быть, готов.

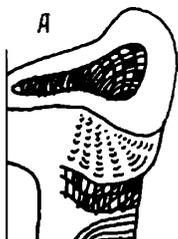
В приемной загремели шаги, и на пороге встал собственно Энгельс Всеволод в сопровождении литовского националиста Лапониса, которому указанный Энгельс был ровно по пояс.

Тяжело вздохнув, Касторский бросил тоскливый взгляд за окно и вдруг закричал, как раненый зверь:

— Задержать! Охрана! Фаина! Всем постам! Негодяи, б...! В пыль сотру!

Кузя заводил свой рыдван, куда на ходу лез, как складной метр, Чибис. Касторский выскочил на крыльцо, заорал в рацию:

— Задержать зеленую «шестерку»! Водителя, пассажира — на капот, руки за голову! Выедут — всех отдам под суд!



Буркин, Энгельс и Лапонис изумленно наблюдали за спектаклем, развернувшимся во дворе Майбороды. Автоматчики с разных сторон бежали наперерез жигуленку, «академик Кузнецов» дико сигналил, Чибис рядом с ним сидел, скорчившись и закрыв руками голову... Беспечных ездовых выкинули из машины, пихнули, согласно приказу, мордами на капот и держали на шести прицелах, как террористов.

Касторский подошел, вздернул Кузю за плечо, заглянул в лицо.

— Ай-а-ай, Владимир свет Иванович! Академик ты мой сраный! Кого облапошить надумал — Платона Касторского! Да я таких, как ты, за яйца вешал и в ноздри ссал... Сука! — завизжал вдруг, словно ножом по стеклу заскребли. — Похищение века, б...и, устроили у всех под носом! Так вот, чтоб ты знал, подлец: в карантин ко мне войти можно. Но выйдешь ты отсюда только ногами вперед. Сгною до всякой отмены чрезвычайного положения. Увести обоих. Кузнецова — к дружку его, в холерную палату. Если только, конечно, он — Кузнецов, в чем я сомневаюсь. А не Финкельштейн какой-нибудь.

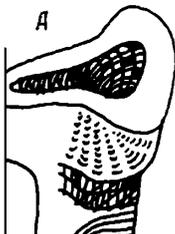
Буркин подумал: «Нет, этот убить не мог. Больно истеричный. Хотя замашки — будто прямоком с зоны...»

Хитроумие Кузи, или, будем говорить прямо, его исключительная хитрожопость быстро завоевала ему авторитет среди коллектива. Маленький Энгельс, едва не брошенный Чибисом, поначалу на товарища дулся, даже разговаривать не хотел: я, мол, тебе такое открыл, шкурой рисковал, а ты кинул меня, как фраера... Однако Кузин веселый нрав быстро всех примирил. Пьер Безухий в первую же ночь устроил было небольшой заговор — типа учинить новичку боевое крещение, чтоб не зарывался, сунуть, кто бы сомневался, башкой в парашу. Но эта инициатива как устаревшая не встретила одобрения и поддержки. Тем более что за пару дней Кузя легко добился расположения слоноподобной раздатчицы, ущипнув ее за предполагаемую талию со словами: «Не горюй, девчонка, будешь ты моей!» — чем наладил бесперебойную поставку из-под полы дешевого курева населению.

Вообще, надо заметить, Петя единственный смотрел на Кузю искоса и хмуро. По мере того как

97

Е Р А



Академик набирал очки, рейтинг недавнего лидера стремительно падал. Даже Фома, постепенно приручаемый Кукушкиным, вышел из подчинения — собственно, с той самой ночи, когда отправил Безухого в нокдаун. В поисках нового адъютанта Петр остановился на Михалыче. Молчаливый красавец ни с кем не сблизился, был уравновешен и явно скучал. Петя, человек военный, чувствовал в нем скрытую силу. Да, приблизить эту темную лошадку было бы совсем неплохо.

— Как думаешь, Михалыч, долго нам тут еще париться? — Напарники стащили во двор контейнер с продуктами жизнедеятельности и перекуривали, наблюдая за работой идущего в ногу с кризисом илососа.

— Видите ли, Петр, — усмехнулся Михалыч. — Я плохо учился в школе и уже много лет заочно борюсь с высшим образованием. Но даже я запомнил одну сильную идею из курса российской истории: революционная ситуация — это когда верхи не могут, а низы не хотят. Если что-то очень упорно повторять, смысл теряется, но набор слов в определенном порядке застревает в голове навсегда. Эта мантра... Знаешь, что такое мантра?

Петр сплюнул табачные крошки и похлопал студента по плечу:

— Не зли меня, мальчик. Один академик у нас уже есть.

Михалыч пожал плечами:

— Сам спросил. Если для завязки разговора, тогда другое дело. А если тебя мое мнение интересует... Интересует?

— Ну.

— То мне не нравится, что вы все здесь уже ко всему привыкли.

— А ты?

— А что ты про меня знаешь? Я, может, здесь вообще отсиживаюсь. От ментов прячусь. Надежней местечка не придумаешь.

— Да иди ты знаешь куда... С тобой серьезно, а ты пургу гонишь...

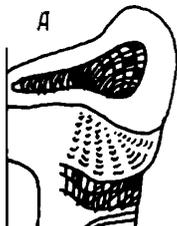
Петр побрел к дверям черного хода, но Михалыч окликнул:

— Эй! Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. У меня бабок припрятано лимон баксов. Около того. На контору одну работал, с квартирами кой-чего химичили...

— Старушек мочил? — криво ухмыльнулся Петя. — Как этот, Тараторкин что играет, видал по телику?

— Не, не мочил, этого греха не было. Там система другая была, все по закону...

Михалыч, вечный студент Института культуры в Химках, который в девяностые годы тотальной смелы вывесок, как и все остальные нормальные институты и даже училища, неожиданно стал университетом, — этот вышеуказанный Михалыч имел мечту. Съехать из блочного сарая, где жил в смежной двушке с матерью и братом там же, на Левобережной, — в особняк где-нибудь типа на Рублевке. Он презирал нищету своей семьи, одновременно же презирал и ненавидел богатеев, которые путем махинаций приобрели все то, что могло бы принадлежать ему, если бы в стране работал закон и людям платили по труду.



Так он стал размышлять, когда умер отец, отравившись подземными газами при прокладке очередной линии метрополитена имени Ленина. Именно с этого дня Слава стал называть себя Михалычем из соображений верности своему отцу, убитому природой и общей подлостью жизни. И, размышляя таким образом, пошел работать и неплохо зарабатывать в разных точках высоких широт. Разнорабочим в золотопромышленной артели, бетонщиком на сибирских стройках капитализма, китобоем, бурильщиком в Тюмени, а также барменом в Сочи, где год отогревался от полярных ветров.

Ради мамы он продолжал заочно учиться в Институте (университете) культуры на режиссера массовых зрелищ, плавно переходя из одного академического отпуска в другой.

На часть честно заработанных денег Михалыч купил квартирку попримичней и поближе к центру, остальное же положил в банк под большой процент. С банком произошло то, что при нестабильной экономике закономерно происходит с банками, и, пролетев в компании с остальными доверчивыми вкладчиками как фанера над Парижем, самурайски упорный Михалыч начал все сначала. Но теперь, кое-что поняв в жизни, парень нанимался в казино, боулинги, ночные клубы и прочие зланные места, где его мускулатура и общая физическая подготовка производили на работодателей благоприятное впечатление. Он был охранником, вышибалой, массажистом и очень короткое время даже мужчиной по вызову, како-

вая мерзопакостная мудянка закончилась тем, что он разбил одной клиентке фарфоровую челюсть и придушил ее золотистого пекинеса. Причем дама, расплачиваясь по таксе пятью зелененькими сотками, всего-то и спросила, сколько будут стоить два вызова. Тысячу, — немного удивился дурацкому вопросу Михалыч. А десять? — не унималась клиническая блондинка, что в сочетании со зредым возрастом выглядит крайне провокационно. Тут жиголо и звезданул ей по зубам, а когда собачонка, сидевшая у клиентки на руках, вцепилась ему в лицо, неосторожно сжал пушистое горлышко.

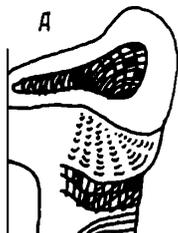
Надо сказать, что в целом спокойный Михалыч с особой страстью — сильнее, чем мироедов, — ненавидел идиотов. Идиотами же считал большую часть электората: телеведущих, ментов, министров, солдат, офицеров, пенсионеров, коммунистов, демократов; все зло от них — такова была концепция вечного студента. А поскольку бороться с таким обширным злом невозможно, Михалыч, как мог, старался в картину мира вписаться.

Вершиной карьеры Михалыча конца нулевых была служба личным телохранителем у некоего заоблачного олигарха. Однако лакейская подкладка этой службы оскорбляла свободолюбивого самурая, и он уволился с огромным выходным пособием. Деньги умный Михалыч держал теперь не в банке — он купил землю в модном поселке Красная Пахра.

Там ему очень приглянулся один дом. Трехэтажный, с зеркальными окнами в косой крыше,

101

Е Р А



с полукруглым мраморным крыльцом. Михалыч то и дело ходил смотреть на него, что-то зарисовывал в тетрадку и наконец познакомился с хозяином. Филипп Константинович торговал недвижимостью.

— Хотите работать со мной? — спросил симпатичный Филипп, сидя однажды с Михалычем за коньячком. — Дело несложное. Мы находим в центре квартиру, где хозяин — одуванчик подревнее, и делаем ему или ей предложение, от которого он или она не может отказаться. За хорошую сумму старичку надо только подписать некоторые бумаги, которые делают нас его наследниками. Ну а когда он отходит в мир иной, мы продаем площадь и получаем свой законный навар. Я бы положил вам... ну... процентов двенадцать от сделки.

— А старик... он... — Михалыч пытался найти правильные слова, — он... умирает своей смертью?

— Голубчик! — развел руками Филипп Константинович. — Вы за кого же меня принимаете? Неужели я стал бы вас, человека малознакомого, втягивать в какое-нибудь преступление? Вы же на меня донесете, правда?

Михалыч прямо посмотрел Филиппу в глаза и ответил как на духу:

— Правда.

— Ну вот и чудненько. Вы должны понять одно: все абсолютно в рамках закона. И очень, очень большие деньги. Миллионы. Вы ведь хотите дом вроде моего?

Несколько дней Михалыч, как в том анекдоте, думал — в чем же наколка? И так и не придумал, поняв одно: Филипп — гений.

И покатилося. За пару тысяч долларов редкий старик отказывался оформить завещание. Поиском клиентов занимались другие люди, занимались грамотно: в картотеке Филиппа Константиновича значились только одиночки без единого родственника. Физических лиц во всей цепочке было два: Михалыч да прожженный нотариус, который заверял завещание и вообще ничем не рисковал. Деньги перечислялись со счета на счет безналичными платежами, Филипп выдавал Михалычу в конверте его долю, Михалыч, испытывая глубокое недоверие к банкам, прятал деньги в ячейках автоматических камер хранения на разных вокзалах столицы, постепенно становясь миллионером.

Дом с обсерваторией для умного братишки и зимним садом для мамы рос на глазах. Пока Филипп не призвал однажды Михалыча и не приказал:

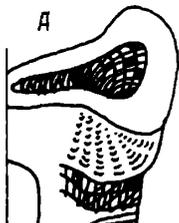
— Исчезни, Славик. На месяцок, не больше. Гриб поганый с Остоженки навел на тебя.

— Но, Филипп Константинович, все же в рамках...

— Станислав, не будь дураком. С такой охапкой липовых документов... Один паспорт не меньше пятака потянет. Выйти на тебя, конечно, не просто, но этот лихой одуванчик умудрился тебя сфотографировать. У него, конечно, не все дома: говорит, ты ему угрожал, шантажировал. Говорит,

103

Е Р Д



подписал под нажимом. Чуть ли не физическим. Слушай, ляг на дно.

— А вы-то откуда знаете?

— Ты еще не привык, что я все знаю?

Тогда и пришел вечный студент Михалыч сдаваться в Майбороду, о чем не знала ни одна живая душа, кроме Филиппа. Он же и присоветовал: лучше больнички, сказал, особенно режимной, нигде не отсидишься. Хорошо бы, конечно, в психушку, но туда не возьмут, слишком уж нормальный. А вот инфекционка — самое оно.

Не следует думать, что Михалыч все это рассказал Пете Сахронову (которого числил закоренелым идиотом) во время перекура. Нет, конечно. Оборвал себя на самом интересном месте, заржал и шепнул напарнику на ухо:

— Шучу, Петр. Я бедный студент. Как Остап Бендер. А революционная ситуация пока еще не назрела. Ждем-с.

Старшина плюнул и подумал про себя: «Придурок. Ошибся я в тебе, Михалыч». И повторил вслух:

— Придурок, мать твою.

И ушел. Бедный, одинокий генерал, с каждым днем теряющий остатки своей армии.

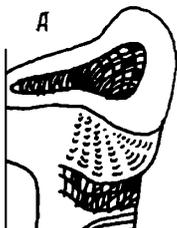
А Кузя кричал в пролет черной лестницы женским голосом:

— Петя! Славик! Домой! Оладушки стынут!

Касторский больше не мог. В этом смысле до революционной ситуации было рукой подать. Страх и совесть не давали ему спать, Платон почернел, исхудал. Нина настаивала, чтобы муж поехал в санаторий Фабрициуса и принял курс ванн. Но после Кузино десанта главврач боялся оставлять больницу, хотя в отделении совсем не появлялся: во-первых, видеть не мог проклятого Кузю, а во-вторых, сил не было встречаться с Энгельсом. Касторскому казалось, что братец обо всем догадывается, и бойкие глазенки малыша преследовали его днем и ночью. Он стал читать Достоевского, чего делать уж никак не следовало, и в каждом, включая Нину, ему мерещился зловещий Порфирий Петрович. В ночных кошмарах Платона Егорыча Энгельс противоестественно совмещался с жутким мальчишкой, внуком Попова, и пронзительно верещал: «Вы и убили-с!» Желание исповедаться больше убийцу не посещало.

105

Е Р Д



Надо сказать, что в отношении Севы Касторский был не так уж далек от истины. Когда Кузя под взрывы хохота рассказывал публике о встрече с Касторским и ее дальнейшем развитии, Сева прежде всего отметил эту малодостоверную деталь: как стремился неслыханный циник Платон облегчить душу в храме. И снова и снова выпрашивал, не говорил ли тот спяну чего-нибудь такого... Ну, странного, дикого чего-нибудь... Сева знал о скрытой вражде Волчицы с доктором. Знал, что Раиса *копала* под него. И — приоткроем, пожалуй, тайну энгельсовского чемодана: там, под сорока чистыми футболками, Карлсон прятал кое-какие документы, которые украл для сестры из бухгалтерии. До карантина несколько стратегически важных служб короткое время перемогались по отделениям, пока в административном корпусе (а где ж еще?) шел ремонт. Для бухгалтерии освободили ординаторскую, от которой у вездесущего Карлсона ключ конечно же был: его Сева как-то раз просто вынул из двери — на всякий случай. Добыть бумаги оказалось несложно, ящики всех столов открывались одним гвоздем. В окно услужливо светила полная луна, и Севе особенно приглянулась папка с грифом «Освоение средств на строительство и модернизацию»: какие-то ведомости, сплошная цифирь, разбираться некогда. Но в борьбе Раисы Вольфовны эта цифирь не помешает, справедливо полагал взломщик и наобум захватил еще пару папок. Шум и правда был потом страшный, Касторский чуть морду Кястасу не набил, весь посинел, а на главбуха, даму с орудий-

ным лафетом вместо задницы, орал так, что посмотреть, как хватит главврача удар, вышли из палат все без исключения засранцы.

— Ну вспомни, Академик, может, нес что-то... ну, не знаю, безумное, чушь какую-нибудь, пьяный бред, а?

Ну ясно, чего-то нес, разводил руками Кузя. Все мы чего-то порем по пьяни-то. Разве упомнишь? Ну вот — Алиске, например, молился, типа что-то Пресвятая Дева... Короче, полная фигня.

— А нельзя у этой вашей Алиски уточнить?

— Да у нее свист в башке соловьиный! — засмеялся Чибис. — Что она вообще помнит, пусто-головая наша?

Но решено было, однако, Алиске позвонить.

— Конечно, конечно, помню! — закричала в трубку Алиса, страшно довольная, что может быть снова полезной. — Прости, говорил, меня грешного, матушка... Матушка — это я. Прости меня, убил я, говорит, ее, убил проклятую...

— Кого? — шепнул Энгельс, отлично все слышавший, так громко вопила Алиска.

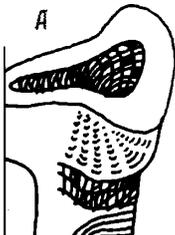
— Кого? — перевел Кузя.

— Ой... кого же? — Алиса растерялась. — Погоди-ка... Собаку, что ли? Да, точно! Убил я ее, собаку проклятую! Точно!

— Может... — Севу от затылка до копчика пробрала дрожь. — Может быть — Волчицу?

— А не волчицу? — Кузя тоже отчего-то разволновался.

— Ну да, конечно! — Алиску прямо распирало от радости. — Волчицу! Именно волчицу, совер-



шенно точно! Так и сказал: грешник я, убил волчицу проклятую. Вернее, проклятушую.

— Да, — пробормотал Сева, — это намного вернее. Спасибо. Спасибо, братцы. И сестрицы. Спасибо за помощь следствию...

...Три ночи подряд, в самое сонное время — в три часа у Касторского звонил мобильник. Просыпаясь в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем, он непонимающе смотрел на дисплей: «Номер не определен». «Слушаю! Говорите!» — без голоса кричал Платон, с трудом удерживая в мокрой руке пляшущий телефон. На четвертую ночь он мобильный выключил. Ровно в три часа зазвонил домашний. На определителе пусто.

— Касторский, — сказала трубка страшным, знакомым голосом (Сева артистически имитировал голоса, на голосе же сестры тренировался «для прикола» всю жизнь). — Ты жалкий идиот. Не слышал, что таких, как я, берет только серебряная пуля? До встречи, сукин сын.

Назавтра Платон был в полном, так сказать, разборе и уехал с работы совсем рано. В машине оглушительно грянули позывные эсэмэски. Отвернувшись от Варелика, убийца нажал «обзор»: «Сегодня девять дней. Жди».

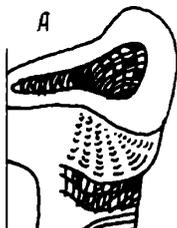
В голове у Касторского что-то взорвалось, и, к ужасу водителя, он навалился на него тучным телом, потеряв так называемое сознание.

...Касторский бежал анфиладой одинаковых помещений, стремительно уменьшавшихся за его спиной, превращаясь в перспективе в точку. Впереди была такая же бесконечная перспектива. Чем

быстрее он бежал, тем дальше уходила анфилада. Бег его был скорее полетом или скольжением по гладкой, как лед, поверхности. Остановиться на ней он не мог, сила скольжения увлекала его в жерло, в воронку, и зацепиться было не за что. Комнаты, или залы, или что он там пробежал, были абсолютно пусты и трехмерны, как в компьютерной игре. Внезапно буквально ниоткуда возник огромный волк с алой пастью и желтыми клыками, меж которыми болтался багровый язык. Зверь летел в невесомом прыжке и сбил маленького человека с ног, дохнув ему в лицо отвратительным запахом нашатыря.

Не для красного словца я говорю «так называемое сознание». Теряя связь с действительностью, мы перемещаемся в свой мозг. Жизнь мозга продолжается, сознание работает, но работа его виртуальна. Возможно, в состоянии обморока или комы человек живет интересней и насыщенной, его видения, не стреноженные реальностью, освобождают душу от неуклюжей брэнной оболочки, гравитация не мешает ему предпринимать сколь угодно затяжные прыжки, и препятствия в виде стен, крыш, гор и вод преодолеваются легко и свободно. Обморок Касторского был всего лишь переходом в гораздо более плотные слои виртуальной реальности, потому что он, как нетрудно догадаться, спятил.

Теперь жизнь Платона Егоровича на долгое время, пока не сработают известные медикаменты, вводимые в отравленную алкоголем кровь, будет подвержена исключительно метафизическим про-



цессам в его несчастном мозгу. Он будет разговаривать как с существами вымышленными, в виде ангелов и демонов и самого Сатаны (чья вымышленность, впрочем, под вопросом), так и со своими пациентами, которые будут осаждать его несчастный мозг целыми палатами, особенно же станет усердствовать маленький Энгельс, добываясь свободы, но не получит ее, поскольку, даже сраженный острым приступом лавинообразной шизофрении плюс делирий, Платон Касторский не забудет о главной миссии своей поганой жизни: держать карантин, сколько хватит сил.

Под действием неумеренного потребления алкоголя чердак у Касторского прохудился не вдруг, и он с самого начала боролся с холерой отчасти маниакально, что все мы, наблюдатели со стороны, поняли, надеюсь, уже довольно давно. Участники же борьбы по обе стороны баррикад не могли взглянуть на эту абстракцию достаточно трезво, что и поддерживало (и до сих пор поддерживает) несколько скачкообразное развитие сюжета. Но и в качестве навязчивой идеи (она же мания) Касторского холера является пружиной настоящего повествования, а главное — пружиной определенного этапа жизни целого ряда персонажей.

Поэтому не будем сейчас снимать ее с повестки дня, ибо, «когда абстракция норовит вас убить, приходится заняться этой абстракцией», что нам и предстоит делать, пока мы все тут окончательно не свихнемся.

Между прочим, Касторскому в его шизофреническом бреде явился демонический мальчик Фи-

липп Второй. Он сел в изножии его кровати и сказал скрипучим голосом: «Я сразу понял, дядя, что душа у тебя прогорклая. Так бывает со всеми, кто младенцами вместо молока сосут керосин. Я и сам такой. Видишь, какие у меня глаза?» Филипп широко раскрыл глазищи, в которых плескалась голубоватая жидкость, поднес к ним зажигалку, и из глазищ у него вырвались два столба чадящего пламени.

— Жжет, жжет! Уйди, гаденыш! — мечась по койке и срывая капельницу, кричал Касторский.

— Что ж ты делаешь, паразит! — врывалась, слышав крики, сестра. — Пашка, в шестую, новенький буянит!

Санитары привязывали Касторского полотенцами к кровати, и сестрица колола в плечо что-то, от чего каменели мышцы и голова наливалась свинцом...

А Филипп между тем гулял с дедом по саду и скрипел:

— А помнишь, дяденька к тебе толстый приходил? Мы с тобой еще решили помочь ему...

Дед кивал.

— А он ведь убить кого-то хотел.

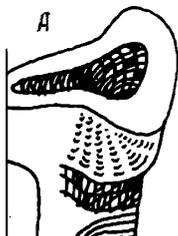
И дед кивал.

— А я сразу понял, что он керосин пил.

И дед согласно кивал.

— Он с ума теперь сошел.

И дед кивал, улыбаясь в темноте. Филиппа Константиновича забавляли совпадения: агент Слава пристроился в больницу, где начальником — докторишка Платоша из прошлой жизни. А



тут и сам Платоша сваливается на голову со своим неприятным, но по-человечески понятным заказом, и Филя может без усилий отплатить докторишке добром за старое добро. И клиентка — старая знакомая, Филя сразу догадался, о какой Волчице речь, ее и в молодости так звали: крутая девка, шашлычную его проверяла, где Филя Попков догадался собак на мясо резать. Едва не посадила, адвокат был во всех смыслах золотой, отмазал. Ничего, сказала прямо в зале суда, мы с тобой, гнида, еще встретимся. На всю жизнь запомнил. И «гниду», что догнала в лагере, и все прочее. Вот и встретились. Памятливый человек был Филипп Константинович. А теперь в психушке, куда Платоша загремел по скорой — так себе богаделенка, районного масштаба, — опять же совпадение: врача — бывшая жена, которую Попков обеспечил на всю жизнь. Баба неглупая, с Филиппом ссориться не стала, дружбу водила, за что имела свою гуманитарку. Попросил сделать так, чтоб у общего знакомого память по возможности отшибло. На всякий случай.

Вот и бежало по трубочке через иглу в вену укрошающее и разрушительное зелье...

Весть о том, что Касторский якобы лечит нервы в больнице психиатрического профиля, разнеслась по Майборде стремительно, как и следует слуху.

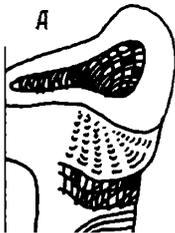
— Ну вот и конец мукам народным, — объявил Кузя — и оказался кругом не прав.

Кястас Лапонис начальника, конечно, не любил, но российскую свору своего отделения воспринимал исключительно как оккупантов и рад был изгадить их жизнь до полного изнеможения.

Шел второй месяц карантина, и безнадежное ожидание разложило массы до состояния почти животного. Контейнер с дерьмом не закрывали, пепел трясли на пол, судна стояли грязные и вонючие, с хлоркой, как предписывалось, никто, даже Энгельс, их больше не мыл. Кукушкин, дежуря раз с Фомой на выносе параша, соблазнил-таки циклопа на площадке черной лестницы, и теперь эти двое без всякого стеснения валялись по ночам на одной койке в чем мать родила, а кому доводи-

113

Е Р А



лось видеть эту картину маслом, лишь сплевывали опять же на пол, не испытывая никакого неудобства.

После ночного бунта балтийский великан появлялся в палатах в сопровождении двух, если можно так выразиться, санитаров — горилл с резиновыми дубинками, что, разумеется, шло вразрез со всеми больничными правилами, но когда русские брали Лиетуву... Сами понимаете.

— Возможно, некоторым пришло на ум, что власти болше нет, — как бы отвечая на реплику Кузи, произнес Кястас в начале своего террора. — Это есть ошибка. Я имею полномочия заместить шефа, пожалуйте. И не надо иметь сомнения, что я буду делать необходимый порядок. Койки следует застлать, гладко, не морщинисто.

— Да сменили бы хоть раз постель-то! — не выдержал Энгельс.

— Сменять постель не имею распоряжения. Еще вопрос?

— Баню бы, гражданин начальник...

— Больница имеет одну баню. На женском отделении.

— Мы согласны! С бабами оно веселее! — загалдели мужики.

Кястас коротко взглянул на горилл. Те взяли дубинки наперевес.

— В палатах есть умывальники. Умывать руки и зубы не запрещено. До свидания. Да! — Кястас обернулся в дверях. — Эти мужчины будут дежурить на отделении круглосуточно.

Одна из горилл похлопала дубинкой по ладони.

— Умыть бы тебе твои чертовы зубы, фашистюга, — проворчал кроткий дядя Степа, когда дверь закрылась.

Ничто не предвещало снятия карантина.

Под недреманным оком круглосуточных горилл Сева больше не мог посещать свой ВИП-душ, что гнетуще действовало на его психику. Изредка он менял майки, которые уже подходили к концу, и целыми днями ошивался в коридоре в надежде как-нибудь прошмыгнуть на лестницу. Но Кястасова парочка стерегла вверенное ей хозяйство, точно аргусь: один глазок у Аленушки спит, другой смотрит.

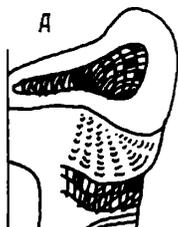
Валандаясь по коридору, Энгельс был остановлен пожилым дядечкой интеллигентного вида, в круглых очочках и пижаме.

— Всеволод Вольфович? — улыбнулся очкарик. — Не узнаете? Я имел счастье учиться у вашего дедушки и не раз бывал у вас дома. Вашим батюшкой написана в соавторстве со мною монография о Савинкове Борисе Викторовиче. Специализируюсь по русскому террору. Войцеховский Арсений Львович. — Старорежимный господин склонил голову с зачесом поперек и слабо пожал Севину руку. — Не ожидал вас встретить в таком, извините, непотребном месте. В какой изволите лежать палате? Третья? Очень приятно. Соседи.

Арсений Львович Войцеховский поведал Севе много интересного. Как истинный ученый, он был поглощен своим предметом и повсюду искал проявления связанных с ним закономерностей и особенностей. «Понимаете ли, Сева, — говорил он, прогуливаясь с Энгельсом под ручку, — в отличие

115

Е Р А



от нынешнего терроризма, который опирается прежде всего на религиозную идеологию и фанатизм огромных группировок, российский политический террор начала прошлого — конца позапрошлого века осуществлялся прежде всего сильными личностями, как Савинков и Софья Перовская, или, напротив, личностями слабыми, закомплексованными, которые стремились вырваться из-под гнета своих комплексов и образа жизни — таких были тысячи, и все это есть у Достоевского. Революции, Сева, всегда вырастали из террора и в дальнейшем питались им. А террор — это силовой акт Личности. Все это я говорю вам, Сева, для того, чтобы вы поняли: в нашем положении, безусловно невыносимом, ничего не изменится, пока среди нас не появится нужная личность».

— Вы меня понимаете? — И Арсений Львович заглянул Севе в лицо. Его глаза горели сумасшедшим огнем.

— Такая личность есть, — сказал вдруг кто-то сзади.

Войцеховский в испуге оглянулся, а Сева даже и оглядываться не стал, потому что с самого начала знал, что за ними по пятам следует эта личность, ловя каждое слово историка.

— Эта личность — я, — сказал Кузя и ткнул себя в живот.

Арсений Львович не нашел ничего другого, как пробормотать:

— Очень приятно...

— Да, это приятно, — согласился Академик, протягивая руку, — Владимир. Я крайне внимательно

слушал вашу речь, Арсений Львович. Дело в том, что в настоящее время я как раз пишу о том, как личность, в данном случае личность Льва Толстого, может сыграть решающую роль в поворотный момент истории. Таким поворотным моментом в истории России, доказываю я в своей работе, был уход Толстого из Ясной Поляны...

— Вы историк? — обрадовался Войцеховский.

— О нет. История нуждается в целом ряде поправок и допущений, иначе неинтересно. Я — писатель. Если бы не внутренний бунт Толстого, Россия пошла бы совсем по другому пути...

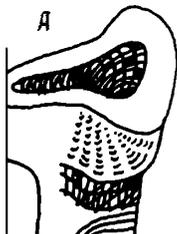
— Ну, это спорно...

— Нет, это бесспорно, но сейчас не время углубляться в концепцию драмы нашего гения и ее влияния на судьбы родины. Главное другое. Рассматривая, слой за слоем, личность Льва Николаевича, я пришел к выводу, что сам являюсь как бы его реинкарнацией. Мне чрезвычайно близки его поступки и философия. Этапы развития Толстого как субъекта и объекта культурно-исторического процесса просто буквально совпадают с моим собственным развитием. Я почти уверен, что по достижении 82 лет уйду из дому и умру где-нибудь на полустанке. Но сейчас, в мои сорок лет — Толстой в эти годы писал «Войну и мир» — во мне крепнет уверенность в моей призванности, что ощущал и Толстой, садясь за эпопею. Об этом он писал в письме к Панаевой.

— Неужели к Панаевой? — удивился Войцеховский.

117

Е Р Я



— Ну да. К Авдотье.

— И как же вы, Владимир...

— Иванович.

— Как, Владимир Иванович, — поспешил сменить сомнительную тему Войцеховский, — вы намерены реализовать свою, как вы изволили выразиться, «призванность»?

— О, это большой отдельный разговор. Главное, друзья мои, теперь есть повод говорить о подготовке левого террора и революционного удара, поскольку есть личность, — Кузя приосанился, — готовая взять на себя решение стратегических вопросов.

Войцеховский недоверчиво покосился сначала на Кузю, потом бросил вопросительный взгляд на Энгельса, и Сева мило улыбнулся в ответ:

— Арсений Львович, вы уж нас не выдавайте...

— Как можно! Исключительно между нами, товарищи!

На том расстались.

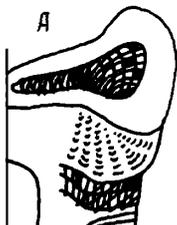
— А знаешь, Карлсон, — задумчиво сказал Кузя, — шутки шутками, а ведь пора что-то делать... — Академик вдруг остановился и схватил Энгельса за плечо. — И я, пожалуй, знаю *что!*

Стремительность, с какой Касторский оказался в положении своих пациентов, в поганенькой убогой больничке, с хамским персоналом и рваными простынями, где был он совершенно бесправен, испытывал мучения моральные и физические в лице битья мокрым полотенцем по морде и электрошока, — эта стремительность довершила дело погружения Платона в пучину тяжелой душевной болезни.

Ему постепенно отказывала память. Он лежал, бессмысленно уставясь в потолок, ничего не соображая — где он, зачем и что вообще происходит. Почему, например, его охаживают мокрым полотенцем и сдергивают за ногу с койки после семи утра. Бедный Касторский помнил, что его ждет какое-то важное дело, но начисто забыл, какое именно. Женщина, которая приходила к нему с сумками продуктов, была ему смутно знакома, но кто она, Платон Егорович, как ни силился, понять не мог. Нина плакала, пыталась накормить мужа домашним супом, но вкусное варево выте-

119

Е Р Д



кало у него изо рта, и Касторский удивленно как бы со стороны наблюдал это загадочное явление. Филя, Волчица, Энгельс, Чибис и прочие выветрились, вымылись у него из памяти, как вымывает вода и выдувает ветер слои песчаника.

Зато его теперь довольно часто навещает Петр Ильич Чайковский. Иногда он является вместе с Мусоргским. Композиторы садятся на кровать и долго молчат. Потом Мусоргский говорит: «Ну, Петр, наливай». Петр Ильич по старинке разливает на троих и горько замечает: «Холерой я не болел. Прелестно себя чувствовал, и с Энгельсом у меня все было прелестно. Вот Модест не даст соврать». Мусоргский кивает, а Чайковский наклоняется к Платону, от него несет хлоркой. Шепчет: «Баба меня срезала. Не могла видеть, как мы с Энгельсом счастливы. Хромая была и в меня влюбилась. А на лицо — то ли лошадь, то ли волк. А мне, Платоша, ты ведь знаешь, и красивых не нужно». Петр Ильич вскакивает и начинает бегать по палате, заламывая руки. «Сядь, Петя, не изводи себя», — просит Мусоргский. «Срезала, срезала, как ноготь! Косой скосила, падла хромая!»

Касторский начинает понимать, что речь идет о Смерти, о так называемой Костлявой, и до того ему делается тошно, что свешивается с кровати и блюет прямо на пол. И тогда Мусоргский с налитыми кровью глазами начинает его бить чем-то мокрым и тяжелым: это жгутик вибриона холеры, понимает Касторский и не сопротивляется.

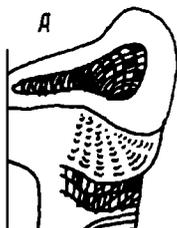
А в другой раз Петр Ильич признается, что Энгельс нарочно заразил его холерой через немытый

огурец — и в доказательство лезет куда-то под фалды фрака и достает оттуда огромный, непристойно желтый, гниющий огурец. И снова Касторский сблевывает на пол, и вновь его лупят жгутиком, нет, здоровым мокрым жгутом по морде и плечам...

Так продолжается до тех пор, пока Нина, видя бедственное положение мужа, не требует отпустить его домой под расписку. Врачи сопротивляется изо всех сил, мол, не имеет права, больной в таком состоянии, и так далее. Но Нина предварительно изучила закон, а закон теперь у нас в психиатрии, в прошлом карательной, а ныне передовой, на стороне больного, если он не представляет общественной опасности, а какую общественную опасность может представлять овощ, тот же огурец? Врачи (бывшая жена Гниды Попкова) тянет время, приходите, мол, завтра, мы все подготовим, но Нина знает порядки и требует не завтра, а немедленно. «И выписка мне ваша паршивая не нужна, а если вам надо, пишите и отправляйте в диспансер». Все досконально изучила. И Касторского, в отличие от его пациентов в инфекционке, которые представляют общественную опасность, да еще какую, — отпускают. И жена везет его домой на том же безотказном Варелике, и Касторский два раза блюет на пол «ауди», отчего Варелик приходит в ярость и грубо сокрушается: теперь салон чисть по вашей милости. Водитель, подлая наемная чернь, а не как преданный слуга и сожитель Чайковского Ванечка или пушкинский дядька Савельич, чувствует, что шеф навряд ли вернется в первоначальный статус, и почти готов вывалить его из машины, как пачкающий груз.

121

Е Р Д



— Принесите два ведра воды и тряпку, — хмуро велит Варелик Нине во дворе дома.

— Я вымою, — оправдывается Нина.

— Обойдемся, — отрезает Варелик, и всем ясно, что больше он к хозяину по первому ночному или любому другому звонку не придет. А пожалуй что и вовсе уволится. Шофера всем нужны, работы навалом.

К Касторскому на дом за большие деньги, которые супруги вместе с цацками держали для верности под съемной панелью на кухне, за водопроводным стояком, косяком пошли всякие светила. Ему сменили лечение, стали давать новые, смертельно дорогие препараты, и Платон Егорыч принял боля-меня человеческий вид. Но и только. О возвращении к работе вопрос пока не стоял.

Лапонис официально принял должность исполняющего обязанности главного врача и укрепил боеспособность своей милиции крупной овчаркой с литовской снайпершей, правда, без оружия. Эта пара охраняла теперь черный ход во время выноса параша и прогулки заключенных пациентов, поскольку посторонним омовцам Кястас не доверял. Средства на новых сотрудников Лапонис распорядился выделить по статье «благоустройство», тем более что снайперша почти ничего не стоила, поскольку являлась инвалидом без правой ступни. (Хотя, забегая вперед, отметим: эта Бируте и без ступни, и без своей верной винтовки, одной силой ненависти могла творить такие чудеса — мало не покажется.)

Кузя ходит мимо горилл с высокомерным видом обладателя тайного знания и в недалеком будущем полного и окончательного победителя. План его быстро созревает, простой и блестящий, как яблочко — или, что ближе к нашей тематике, как финский унитаз. На прогулке он заигрывает с Бируте-снайпершей, которую с первого взгляда возненавидел Безухий.

— Жаль, сука, не встретились мы в другом месте, — цедит Петр, не обращая внимания на грозный рык овчарки. — Попалась бы ты мне там, я бы тебя сперва роте отдал на обработку, а после... — Память о кровавых днях застилает ему глаза и перехватывает горло.

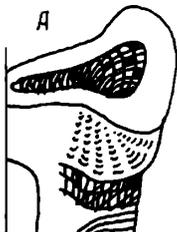
— Не слушайте его, Бируте, — вступался Кузя. — Я вас очень хорошо понимаю и уважаю ваши убеждения. Мне близка повстанческая идеология. В сущности, вы — как Байрон: сражались за свободу чужой страны. Что ж в этом плохого, Пьер?

— Она наемница, дурак ты! — Петя весь трясется от злости. — Сколько наших положила, б... на... Какие на х... убеждения! За деньги! Сколько тебе платили, а, падла белая?

Бируте, похожая на смерть в бредовых видениях Касторского: лошадиное лицо, волчьи уши, приподнятые туго стянутыми в соломенный хвостик помазок волосами, — молча хромала в другой угол площадки, держа страшную лагерную собаку на коротком поводке и глядя прямо перед собой белыми глазами. Зловещая девушка, она была настоящим лицом войны. Кузя понимал, что эта отстреливалась бы до последнего патрона, и не за деньги, и, конеч-

123

Е Р А



но, не за убеждения — у кого они есть сейчас, если всерьез? — а в силу ненависти, пропитанная ее веществом до костей и до матки. Ненависти не к кому-то или чему-то определенному, а просто тотальной ненависти, росшей вместе с ней, ненависти, созревающей, как опухоль, по мере роста организма. Со взглядом ее белым было жутко встречаться, как с глазами Горгоны. Свирепый пес при ней создавал совсем уж невыносимую концентрацию ненависти и был, строго говоря, излишним. Но Бируте с Гедеминном, подобранным в Урус-Мартане щенком, не расставалась. Она не рожала, родители умерли, брата носило по свету без адресов и явок, никого у нее не было, кроме Гедемина. Бируте не любила мужчин и ненавидела женщин, на детей смотрела с отвращением, как на червяков. В пса поместился весь отпущенный ей Богом скромный запас любви, потому что хоть чайная ложка, хоть горошина спасительной любви, чтоб совсем не сгнить и не взорваться от желтого гноя ненависти, дается каждому. Пес даже не охранял — он хранил Бируте, как серый в подпалинах ангел, понимал каждое слово и чуял все, что творится в ее черной душе.

Кузя, Чибис и Энгельс курили, подпирая стенку, чтоб хоть как-то спрятаться от полуденного зноя (прогулку Кястас непонятно из каких сообщений перенес с пяти часов на самое жаркое время), и обсуждали эту единственную оставленную им для обсуждения женщину.

— У меня была одна эстонка, — делился Чибис. — Холодная, как корова.

— Она литовка, — возразил Энгельс.

— Один черт.

— А мне ее жалко, — признался Кузя. — Живет, как ржавый гвоздь, одна на всем свете.

— Да почему ты знаешь?

— Ой, ну посмотри на нее! С такой рожей, хромая... А главное — зенки эти пустые... Я б на ее месте тоже на войну пошел. Нормальная баба полезет в снайперы?

— А интересно, — Сева, как пацан, вытаращил глаза, — драли ее там эти, боевички?

Чибис оглянулся на Бируте.

— Поди спроси у нее.

— А вот мне, — Кузя высокомерно оглядел товарищей, — мне вот совершенно неинтересно. И я думаю, она убила б, если что. Уверен, что какой-нибудь барбудос пулю в живот точно схлопотал. А может, и не один.

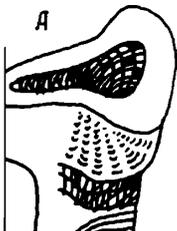
— Да уж, — согласился Толик. — С этим комиссарским телом не больно расслабишься...

Энгельс подтолкнул Кузю локтем:

— Знаешь, Вова, у меня такое впечатление, что твоя сильная личность строит какие-то планы относительно блондинки...

— Моя сильная личность строит кой-какие планы. Но не дай бог нам в их реализации напороться на эту девушку с веслом. — Подгреб дядя Степа, и Кузя вдруг резко сменил тему: — Степан, а какие в основном бывают причины пожара?

Дядя Степа, польщенный интересом Академика, стал загибать пальцы:



— Электроприборы, уют там не выключили — раз. Газ — два. Курят в постели, кто пьяный — заснет, а папироска тлеет... Три.

— Засыпают с зажженной сигаретой? И часто? — отчего-то заинтересовался Кузя.

— Пятьдесят процентов.

— Столько идиотов? — удивился Чибис, который сам частенько засыпал с сигаретой, но до сих пор проносило.

— Дальше — абажур, к примеру, от лампочки загорится. Мальчишки, бывает, балуют — почтовые ящики поджигают, но сейчас редко. У кого печное отопление — ну, это в области. Или вот еще елки в Новый год! Это сплошь и рядом. Вообще зимой чаще раза в два или три, прикинь?

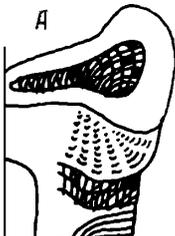
— А в постели, — не отставал Кузя, — значит, аж пятьдесят процентов всех пожаров?

— Не менее, — авторитетно подтвердил дядя Степа.

— Заканчиваем прогулку! — рявкнул охранник, ревниво покосившись на Бируте. Та, невозмутимая и отрешенная, стояла со своим псом в противоположном углу двора и курила самокрутку. Запах травки висел в неподвижном воздухе, как бы обволакивая девушку непроницаемой пленой ядовитой ненависти.

— До встречи, Бируте! — помахал рукой Кузя, последним входя в дверь черного хода. Поднимаясь по зловонной лестнице, довольный Академик бурчал себе под нос: «Заснуть с сигаретой... Гениально... Нет, это просто гениально...»

«...Неоднократно упоминаемый крестьянин Федор Кузин, в детстве состоявший при юном Толстом так называемым «мальчиком», или «казачком», сохранил дружбу с барином до старости. Во многом Кузин явился прообразом Платона Каратаева, которого официальное литературоведение ошибочно считает собирательным образом русского крестьянина. Лев Николаевич, способный гениально экстраполировать частный опыт общения на всю многомиллионную массу русского крестьянства, отдавал себе полный отчет в том, какова эта «загадочная русская душа» на деле. Погрязший в пьянстве, темном невежестве и циничном холопстве, голодный, изможденный непосильным трудом народ не вызывал особых симпатий барина-пахаря, чьи забавы с плугом носили, разумеется, чисто декоративный характер. Лев Николаевич видел истоки тупой деревенской жестокости, которые впоследствии нашли приложение в «красном терроре», а до того — в крестья-



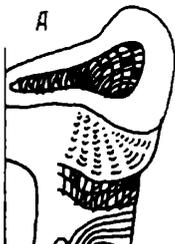
янских бунтах Пугачева и Разина. Несмотря на расхождения с Некрасовым по множеству вопросов современной им общественной, литературной и политической жизни, Толстой признавал исчерпывающую справедливость характеристики «до смерти работает, до полусмерти пьет». Кузина же Толстой воспитал в лабораторных условиях барского дома, сделал из него экспериментальный образец крестьянина-философа, впитавшего, с одной стороны, посконную мудрость земледельца (каковым Федор Кузин в реальности не был, оставаясь, впрочем, по природе своей человеком от земли, «от сохи»), с другой — книжную грамотность и некоторую даже тонкость и высоту образованной души. В Кузине Толстой видел утопический образ крестьянина, которому доступны разнообразные плоды человеческого разума, грамотного и богатого крестьянина, живущего в гармонии с природой и с просвещенным государством.

Такой тип (и такое государство) в России были абсолютной утопией, что прекрасно понимал гений со всеми комплексами русского барства Лев Николаевич Толстой. Сознание того, что «страну рабов, страну господ» изменить невозможно ни эволюционным, ни революционным путем, невозможно вытащить из трясины тупой жестокости, корыстолюбия, пьянства, воровства и низких страстей, присущих всем слоям общества, подобно тому, как был облагорожен им сын крепостного Федор Кузин, сознание бесплодности таких усилий по отношению к косной и неповоротливой туше

державы причиняли Льву Николаевичу истинные страдания и боль. Этим вызваны безудержное пьянство и разврат, которым предавался великий российский гений со всей страстью своей мощной природы.

Толстой, однако, понимал, что пример барина-бабника и пьяницы способен нанести непоправимый ущерб формированию Федора Кузина как идеальной фигуры идеально демократического дискурса. Поэтому Толстой предавался своим порокам тайно, находя тонкое мазохистское удовольствие от мучительного опыта собственного лицемерия, что нашло отражение в образе Нехлюдова, погубившего Катюшу Маслову. Остается недоумевать по поводу слепоты и недалекости В.И. Ленина, который усмотрел, как в романе «Воскресение» Толстой якобы «обрушился со страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс». В то время как роман является болезненным самобичеванием и дает почву для глубокого психоанализа.

Вернемся, однако, к личности Федора Кузина. Вся важность этого утопического персонажа (при искренней дружбе, что питал к нему Толстой, Федор Кузин оставался для него как слугой, так и персонажем, в большой степени придуманным, вызванным к жизни писательской и человеческой, а по сути, барской волей) мы оценим, поняв, что именно Кузин явился первопричиной эпохального исхода Льва Николаевича из Ясной Поляны.



Итак, вылепив себе идеального мужика, Толстой создал благодатный материал, источник разного рода концепций русской души, веры, судьбы русского крестьянства, благотворной роли крепостного права для развития государства. Рассуждения «природного» русского мыслителя послужили основой не только для образа Платона Каратаева, но и для фигуры хозяина-философа Константина Левина. К сожалению, записи бесед Льва Николаевича с Кузиным не сохранились, уничтоженные Софьей Андреевной, не одобрявшей дружбы мужа с «грязным мужиком».

По свидетельству Н. Страхова, который никогда не бывал допущен к этим беседам, после них писатель надолго запирался у себя в кабинете и, по-видимому, обрабатывал материал. Постепенно Толстой настолько глубоко погрузился в мир своего «гомункулуса», что начал отождествлять себя с ним, что, как известно, является первым шагом на пути к раздвоению личности или, другими словами, шизофрении. Проще говоря, как ни кощунственно это звучит с точки зрения официального «толстоведения», Лев Николаевич Толстой сходил с ума. К 1910 году, читая статьи Толстого, его письма и наброски, его примитивные притчи и «народные рассказы», с прискорбием приходится заключить, что перед нами человек с неадекватной психикой. Налицо все признаки душевной болезни: маниакальная тревожность, комплекс мессианства, ошибочная оценка связей с временем и местом. Роковая осень 1910 года вместе с сезонным обострением породила у писателя болезненный комплекс вины за свое бар-

ское происхождение. 28 октября Толстой, не в силах более противостоять болезни, в сопровождении дочери бежит из дома, в дороге заболевает и останавливается на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги, где неделю лежит в критическом состоянии в доме у начальника станции.

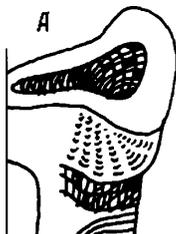
Не понимая, зачем и от кого, от чего бежал, Толстой в бреду зовет родных. Возле постели умирающего вскоре собирается вся семья, за исключением Софьи Андреевны. Она по-прежнему не может простить мужу мучений, на которые Толстой обрек ее всей своей жизнью настоящего русского безумца, одержимого манией смерти и ищущего спасения в самом разнузданном распутстве. Выводы о тайных пороках Льва Николаевича нетрудно сделать, читая письма и дневники Софьи Андреевны Толстой. Всего лишь женщина, барыня, жена, она не могла осмыслить и осознать закономерности тех великих тягот, что взвалила на ее плечи судьба, поместив ее в обстоятельства интимной жизни с гением. Между тем, сложись иначе их брак, найди Толстой в близкой женщине понимание и великодушие, возможно, не случилось бы грандиозного излома российской истории...

Что же позволяет нам утверждать, что бегство Толстого из Ясной Поляны если не привело в движение, то подтолкнуло поворотный круг сцены, на которую уже вышли революции, террор, нестабильность монархической власти?»

Кузя поставил знак вопроса в конце эффектной и очень понравившейся ему фразы и закрыл карманный компьютер.

131

Е Р А



Темнело, в палате зажгли единственную лампу под потолком, которая только сгущала сумерки, отягощенные плотной и как бы осязаемой смесью запахов, в сумме дающих удушающее зловоние. Сочинялось ему по-графомански легко, он уносился мыслями и всеми органами чувств в Тульскую губернию, где над дугами стелется молочный туман, пахнет нагретыми за день травами и дымом от самовара. Кузя, наподобие крупного херувима, парил над лысым старцем с бородой до пояса, босым, в нижней рубахе и портах, с трудом бредущим проселочной дорогой к дощатому павильону станции. Старик уже различал очертания маленького строения, его большое ухо улавливало скрежет поездных тормозов, сливающийся с тонким комариным звоном в синем воздухе... Впрочем, стояла осень, и дорога тонула в грязи. Пахло отнюдь не травами, а гнилой октябрьской распутицей, старик ехал в коляске, хотя и обутый, но одетый действительно слишком легко, но не чувствовал холода, а только беспросветное одиночество и горькое раскаяние за несправедно прожитую жизнь.

Через несколько дней Россия узнает о сирой смерти гения в чужой кровати. Узнает и содрогнется от предчувствия страшных перемен, назревающих в больном теле страны. Кузя решил получше обдумать заключительную фразу главы, чтобы его мысль о влиянии безумного акта «матерого человечести», словно рычага, на состояние умов российского общества прозвучала убедительнее.

Что касается общества третьей палаты, да и всей больницы Майбороды в целом, то оно тоже стояло на пороге перемен, не подозревая об этом. Ибо Аннушка уже пролила масло, то бишь Кузя уже закурил доставленную слонихой «Приму» и лег на свое койко-место.

Пропотевшая простыня никак не хотела загораться.

— Эй, — тревожно окликнул дружка Чибис, — ты дымишься, не видишь?

— Дымлюсь, зараза, но не горю. Не годится твой рецепт, Степа. Давайте, мужики, поджигаем эту ветошь, вместе, а ну!

— Ты рехнулся, Академик?

Но Чибис и Энгельс, в отличие от Безухого, схватили идею на лету.

— Парни! — Энгельс встал на койку. — Академик — гений. Пожар — вот что нам нужно! Пожар, дядя Степа, который ты на этот раз будешь не тушить, а только раздувать на горе всем буржуям!

— Я не понял... — угрожающе приподнялся над Кукушкиным Фома.

Но сам Эдик уже вскочил и толкал Фому в могучие плечи:

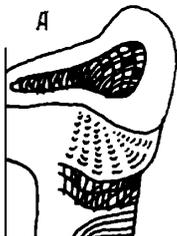
— Вставай, Коленька, давай зажигалку, солнце мое...

Двенадцать мужиков в пять минут разворошили свои божатники, и пламя уже лизало сбитые простыни, подушки, прожигало черные каверны в матрасах.

— Стулья, стулья бросай!

133

Е Р Д



— Бумагу! У кого бумага есть?!

Энгельс выдвинул свой загадочный чемодан, и в костер полетели пачки ведомостей и картонные папки с не понятными никому, кроме бедного Касторского и задастой главбухши больницы имени Майбороды, документами. Когда весело затрещали стулья и тумбочки, мужики вывалились в коридор с радостным ревом:

— Пожар! Горим!

Клубы дыма и знамена огня захлестнули коридор. Гориллы в панике заметались, пытаясь остановить толпу мужчин, бегущих к выходу. Зазвенело стекло. Лавина людей, смяв охрану, с топотом рушилась по лестнице. Дядя Степа оглянулся:

— Хорошо горит. Надолго. — И заорал догнавшему погорельцев громиле: — Куда прешь? В ноль-один звони, дура!

Маленький Энгельс первым добрался до выхода на улицу. Сзади вопила и наседала толпа, наверху гудело пламя. Впереди высился бастион столетних госпитальных дверей — крепостных ворот сантиметров в десять толщиной, с могучей притолокой и тремя замками. Сева вспомнил свои ночные кошмары, мучившие его мальчиком после дедушкиных рассказов о революции. Сам дедушка в революции не участвовал, но картины русского бунта живописал очень красочно — от Пугачева до 17-го года. Толпа напирала, плюща Севу, хрустя его костями...

По улице уже неслись с воем пожарные машины. Последнее, что увидел забывший уроки де-

душки Энгельс, был немислимый ревуший луч: он резал дверь, как лазер, и дерево трещало, рассылая снопами искры, вроде пионерского костра...

Это в дыму и пламени с верхней площадки широкой лестницы без помощи какого-либо дополнительного оружия всем своим существом изрыгала ненависть снайперша-Смерть, и солома волос на ее волчьей голове стояла белым огнем.

Е Р Д

16

До встречи с Кястасом инвалид Бируте скиталась со своей собакой по съемным углам в Москве, куда попала, увязавшись за одним чеченцем. О нет, не то, что вы подумали. Хотя этот Салман, как многие в отряде, пытался навестить белобрысую девицу в ее выгородке за ситцевой занавеской в общей палатке. Внешность Бируте однополчан не интересовала, достаточно было того, что женщина, и женщина светлой масти.

Уже взгромоздившись на жесткий каркас тела, Салман уперся животом в непонятный твердый предмет, который очень скоро сделался понятен. «Стреляю», — спокойно сказала наемница, и Салман скатился с матраса на пол, бормоча: «Ну, ну! Без глупостей...» Сомнений, что чертова девка выстрелит, не было никаких. Странно, но после неудачной вылазки они, можно сказать, подружились — с осторожной оглядкой, словно два хищника, скажем, волк и рысь. По крайней мере держались теперь поближе друг к другу, двадцатилетний кра-

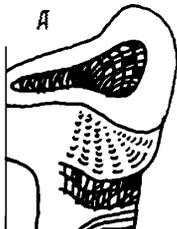
савец Салман и тридцатилетняя Бируте, девушка с костистым лицом войны. Когда Бируте выходила в ночной караул, Салман шел за компанию, не дорожа лишним часом сна. Под обстрелами рысь вжималась в землю рядом с молодым волком, точно мать, воюющая вместе с сыном, — были и такие.

Ей очень нравился рассказ про грузинских маму и сына, воевавших с абхазами. Женщина лежала в гагринском болоте и орала: «Дидико, где мой дидико?!» Противник лупил по кустам, откуда неслся ее крик. Через двадцать минут на месте вечнозеленого кустарника была черная сетка. Тринадцатилетний мальчик молча отстреливался где-то рядом. После боя она все плакала: «Дидико, скажи маме, чего хочешь, все для тебя сделаю!» И Гоги сказал: «Мама, одного хочу — Ардзинбу хочу!»

У Бируте не было такого сына, и на Ардзинбу ей было наплевать в той же мере, что и на Басаева, и на любого из федералов. Никого она не любила и не стреляла ни в кого персонально. Только твердила — про всех списком: «Чтоб вы (вариант — они) сдохли», подразумевая именно вот это самое — пожелание смерти всем вокруг, и своим, и чужим, потому что никаких своих для Бируте не было. Была она — и все остальные. Когда возникло подобие дружбы с Салманом, сказка про военную мать, про материнскую любовь под артобстрелом стала трогать ее за сизое сердчишко — легко сжимать как бы детской лапкой. А тут Салман еще принес ей толстолапого лобастого щенка овчарки со смешными висячими ушами. И любовь прорвала дамбу, выстроенную в душе уродливой бобылки годами изгойства.

137

Е Р А



В дни временного затишья Салман подался в Москву: какие-то люди из мафии позвали его как дальнюю родню — «поработать на дядю Лечо, срубить бабла и пострелять на досуге». Поехали со мной, сказал он Бируте. Та только что вышла из госпиталя после ампутации ступни (пропоротой ржавой колючкой от старого заграждения, на которую напоролась, бегая, как девчонка, по лесу босиком со своим Гедеминим; за несколько дней нога почернела, — и гангрену отчикали чуть выше таранной кости. Очень глупо).

В отряде она, инвалидка, была больше не нужна, взяла пса и поехала.

Салмана очень скоро убили в какой-то разборке. Бируте не плакала — только, чтобы перебить какую-то незнакомую ей боль за грудиной, сунула руку в печку подмосковного домика, где жила сторожем. Сторожить дачу было очень удобно. И крыша над головой, и какие-никакие деньжата.

Когда зимний сезон кончился, сторожила склады, ночные магазины, одно время даже такой неподходящий объект, как детский сад.

В общем, осталась она, с обожженной рукой и без куска ноги, в чужой и враждебной Москве и области, без регистрации, совсем одна. Не считая, как говорится, собаки. Но эта собака очень даже считалась. Если не было ночной работы, Бируте предпочитала спать на улице, на вокзале, скитаться по чердакам, подвалам и теплотрассам, чем расстаться с Гедеминим, если очередная хозяйка не пускала жиличку с собакой.

Гедемин спас ей жизнь — не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Когда Бируте бомжевала, некий товарищ по несчастью решил «погреться» возле крепкой бабы. Ствола на этот раз у нее при себе не было. Оттолкнула было воняющую водкой и неперевавленными объедками пасть, но мужик не понял. «Дай, — просипел, — не ломайся, сука, хуже будет», — и достал широкий нож с наборной ручкой — серьезное лагерное изделие. «Взять, Гедемин!» — не повышая голоса, сказала Бируте. Бедного неутоленного бомжа нашли утром, истекающего кровью: прокушенное бедро и минус два пальца на правой руке. И пусть еще спасибо скажет, что жив остался.

Бируте с Гедеминим в это время были уже далеко. А именно в электричке Ярославской железной дороги, где оба дремали, одна на лавке, другой под сиденьем, а на них внимательно смотрел белобрысый гигант, едущий к себе домой на станцию Мытищи.

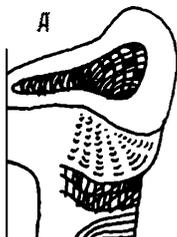
Кястас с интересом рассматривал эту пару — изможденную блондинку в грязном камуфляже, в которой он безошибочно признал соотечественницу, и огромного пса.

Назавтра Бируте и Гедемин приступили к работе в больнице имени Майбороды. С разрешения начальника поселились в сторожке охраны.

Среди ночи чуткая Бируте услышала шум и увидела в окно своей сторожки отблески огня — единственной вещи в мире, которой боялся от-

139

Е Р Д



важный Гедемин. «Место!» — приказала она псу и через черный ход, куда пламя еще не перекинулось, подскакивая на здоровой ноге, похромала навстречу стихии. На площадке парадной лестницы снайперша поняла, что толпу уже не развернуть.

Гедемин разрывался между страхом, приказом хозяйки и необходимостью быть рядом с ней. Поскуливая, вылез на улицу, побегал перед распахнутой дверью черного хода, — и поднялся по лестнице, среди мешанины запахов отчетливо различая родной след.

Когда пес, дрожа, прижался к ее ноге, Бируте словно получила чей-то сигнал.

— Ложись! — гаркнула она, и люди, послушные инстинкту, повалились, давя друг друга и пытаясь вжаться в мраморный пол.

Снайперша оскалилась, вытянула вперед пустые тощие руки и, трясясь всем телом от напряжения, страшно закричала, заревела, как зверь: «А-А-Ау-у!!!» Смерч сотряс ее, натянув, словно тетиву, руки от плеч до ладоней. Энергия ненависти, которую вырабатывал атомный реактор Бирутино сердца, вырвалась ослепительным взрывом — и разнесла дверь в щепки. Толпа хлынула во двор.

Обезумевший пес заметался перед стеной гудящего кошмара. Бируте взяла было его, словно щенка, на руки, но не удержалась на своем протезе, упала, придавленная сорокакилограммовой ношей. Пес рвался из рук, раздирая ей когтями лицо. Соломенноволосяя Смерть задышалась в

дыму, Гедемин выл, роняя из пасти пену, огонь рушился вниз. Крепко обхватив собаку, Бируте покатилаь по лестнице. Шерсть на Гедемине вспыхнула, загорелся камуфляж.

Сбив огонь в вестибюле, пожарные вынесли труп коротышки в разбитых очках и два еще живых, обгоревших тела — женщины и собаки.

Е Р Д

17

В июльскую жару, какой не было за всю историю наблюдений, дежурная, может, и не обратила бы внимания на большую группу полуголых людей, кабы не ранний час. Метро только открылось, и Евдокии Петровне Малышевой, женщине крайне аккуратной, закованной к тому же в черный форменный китель, показалось несправедливым и странным нашествие то ли бомжей, то ли каких-то полоумных туристов, ввалившихся на станцию «Семеновская» в шесть утра. А когда все они, как один, словно дрессированные блохи, стали прыгать через турникет, поскольку не имели ни в руках, ни на теле ничего, где можно было бы держать деньги, проездные или карты москвича, Евдокия Петровна возмущенно задула в свисток, призывая милицию. Милиция, впрочем не шибко спешила: не митинг, чай. Малышева визгливо заорала: «Назад, оглоеды, прекратить хулиганство!» Но стая дикарей уже неслась вниз по эскалатору — за исключением татуированного

громилы и женоподобного мозгляка с сальными локонами, рассыпанными по костлявым плечикам.

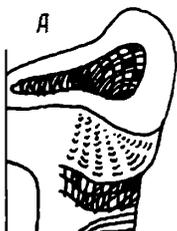
Громила толкал мозгляка к турникету, тот упирался и плакал. Евдокия с подоспевшим ментом подскочили к парочке: «Ваши документы!» Ну не глупость! Какие документы у грязных вонючек в трусах?

Фома выпучил на милиционера звериный глаз и без лишних слов дал ему в челюсть. Евдокия заголосила, Фома взвалил Кукушкина на плечо и форсировал проход.

— Эдик, твою мать, — пыхтел циклоп, — нам только обезьянника не хватало... Ломим, сука, твою мать!

Евдокия что-то кричала в рацию, но голые люди, осуществившие на практике революцию, в полном соответствии с теорией: когда они, низы, не хотели, а верхи — Кястас с камарильей не могли загнивать по-старому — уже загружались в вагон. Авторским произволом я задерживаю охрану общественного порядка, потому что сил больше нет смотреть на мучения граждан.

В это самое время зеленая «шестерка» беспрепятственно выезжала из широко распахнутых для пожарных машин ворот Майбороды. На заднем сиденье утрамбовались Арсений Львович Войцеховский, Михалыч, Петр Безухий, а также некоторая худосочная дама в ночной рубашке, которая рыбкой впрыгнула в салон в последний момент и в панике растянулась на коленях всей честной компании.



— Мадам, — шипел либерал Войцеховский, — куда вы лезете?! Это «жигули», а не какой-нибудь вам джип!

— Бросьте, Арсений Львович, — пристыдил Кузя. — Видишь, Толян, как быстро люди начинают выгрызать свое место под солнцем. Только что в говне захлебывался, а дали крошечную кочку — и давай все на фиг, мое!

Чибис полулежал, высоко задрав колени, на переднем сиденье и ничего не соображал.

— Кузя, ребята, — шептал он, — свобода, что ли?

— Слышь, Академик, — подал голос Петр, — а с паспортами как быть? Они ж тут остались, сгорят?

— Однозначно, — радостно отвечал Кузя. — Меня больше интересует, где наш Карлсон? Я с ним как-то сроднился, с хитроvanом очкастым...

Про Энгельса никто ничего не знал. Дама пискнула:

— Я в Бутово живу... Денег ни копейки! Отвезете?

— Слыхали?! — обрадовался Войцеховский. — Дай им палец — голову откусят!

По рассветной Москве Кузя в пятнадцать минут по пустому кольцу домчал да Никитской. Подъезд пахнул родной вонью, которая показалась всем духами и туманами. Гуськом, с дамой-замыкающей, поднялись на второй этаж. Дама бросилась к телефону и истерически заверещала, чтобы некий Димочка немедленно приехал за ней с вещами.

— Муж? — мрачно уточнил Петя.

— Братик... А я не замужем! — разрыдалась дама. — Бросил меня, сволочь такой, к молодой сбежал...

— Я его понимаю, — мстительно заметил Войцеховский.

— Мужики, — Петя окинул даму в казенной бязевой сорочке, сползающей с плеча, оценивающим и жадным взглядом, — может, трахнем ее? А то я больше не могу, полтора месяца без бабы...

— Стыдитесь, молодой человек, — буркнул Арсений Львович.

— Правда, Пьер, — блаженно растянувшись на ковре под вентилятором, согласился Чибис. — Она — наш товарищ по несчастью, а ты — скотина. Тут тебе не Чечня, цивилизованные люди, писатели, ученые. Кузя, дай нам водки, что ли. Не бойтесь, леди, не тронем. Вас как звать?

— Ирина...

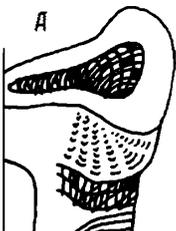
— Зачем водки? — испугался Войцеховский. — Я не пью уже четыре года...

— Вот, Ирине дай тоже. Алиску вызовем, чтоб Ира не боялась. Алиска, Ирочка, — наш женский друг. Хотите, привезет вам юбку?

Ирина пугливо жалась в углу на стуле, Петя ходил перед ней, как тигр, отчего женщина в ужасе зажмурилась.

Словно почувяв свободу, у всех разом грянули мобильники.

Михалычу звонил Попков с радостной вестью, что одуванчик с Остоженки помер и интерес к нему, Михалычу, со стороны правоохранительных органов угас. Войцеховскому внушали с кафедры, что он очень нужен на ученом совете, на что Арсений Львович кобенился и капризничал — очень, мол, слаб. Тетка Сима доставала из Хай-



фы: «Толенька, детка, клянусь тебе, это не страна, это что-нибудь особенное! Ты с твоей головой будешь здесь номер один!» — «Я плохо переношу жару, тетя», — смеялся Чибис.

Это просто удивительно, как порой стремительно и внезапно начинает налаживаться жизнь. И не беда, что отключили горячую воду. Вся компания по очереди, Ирина первая, вымылась под холодным душем. Кузя выделил даме халат и, пока мужики, рыча и крикая, плескались, сбегал на угол за пивом. А водка всегда была заначена у него в диване.

Алиска, примчавшись, застала шумную компанию во второй стадии возрождения. Недавние узники инфекционки звенели бутылками о края стаканов и поедали рыбные консервы с консервированными же помидорами, которые прошлым летом сама Алиска закатывала у себя на даче и раздаривала трехлитровые банки друзьям на дни рождения.

Петр, приятно изумленный появлением кудлатой барышни, схватил ее за руку и со словами «А вот и девчонки» рывком усадил к себе на колени и принялся вливать ей в рот пиво из своего стакана.

— Кузя, — обиженно сказала Алиска, — почему ты вечно знакомишь меня с каким-то говном?

Арсений Львович хохотал мефистофельским лающим хохотом. Чибис без всякого музыкального смысла лупил по струнам гитары и кричал: «Рок, рок, рок, рок!» Михалыч с Ириной отплясывали что-то в высшей степени разнузданное, и

полы ее халата развевались, временами накрывая опрокинутую леди с головой.

В полдень явился так называемый Димочка, подросток лет шестнадцати, выпил бутылку пива, захмелел и предложил сестрице Иринишке пожить у Кузи, а то ему, Димочке, негде заниматься.

Нет, это просто удивительно, как быстро люди привыкают к хорошему и забывают про адские мучения, которые убивали их и их близких еще вчера...

И никто из этих легкомысленных весельчаков не догадывался, что в морге больницы имени Майбороды стынет затоптанный, с переломанными ребрами и треснувшим, как орех, черепом, труп вдохновителя их побед, хитрого и дальновидного малыша, которому в решительный момент отказала его дальновидность и хитрость. Душа пытливого Энгельса вылетела вместе с клубами черного дыма сквозь крышу и неслась, чистая, лишенная запахов, в полуденном небе высоко над Москвой, неуязвимая как для жара, копоты и зноя, так и для морозного дыхания стратосферы.

В ночь пожара Кястасу приснилась его душа — отдельно от тела и на удивление маленькая, сморщенная, пятнистая, подобная плесневой пленке на старом супе. «Мне страшно, Кястас, — сказала душа. — Боюсь, Бог накажет меня за то, что я заплесневела от лени и слепоты». — «Бога нет», — беззвучно возразил Кястас. «Глупости, — сказала душа. Как это — всё есть, а Бога нет? Бог есть, и Он велел нам, душам, трудиться. От безделья я ослепла и обесцветилась, как рыба в подземном озере. Страшно сказать, Кястас, ведь у меня нет желаний. То, что ты делаешь по ночам с женой, — всего лишь зов твоего громадного тела, а ко мне не имеет никакого отношения». Кястас слушал, раздавленный ее правотой и тяжестью обвинений. «Спаси свою душу!» — раздался отчетливый нежно звенящий голос, отчего доктор проснулся и еще несколько мгновений лежал, опустошенный трелями будильника.

Когда он приехал, Бируте уже забрали в ожоговое отделение Склифа, а остальные свидетели и

участники пожара кинулись кто куда. Так сказать, «цирк сгорел, и клоуны разбежались»... Кястас окинул взглядом пепелище и увидел несчастного обгоревшего пса, скулящего и плачущего от боли и одиночества. Милосердие несмело постучалось в его ожесточенное оккупацией Лиетувы сердце. Он осторожно взял Гедемину на руки и отнес в машину. Две недели гигант ухаживал за четвероногим собратом, несмотря на протесты жены, такой же белобрысой гигантки Эгле. Ночами, свешивая руку с кровати, Кястас под храп Эгле гладил Гедемину по голове, и пес лизал ему ладонь. Кястас думал, как глупо он прожил свою, казалось бы, правильную и честную жизнь: без любви и жалости, без божества, без вдохновенья...

Через две недели он навестил Бируте. Лицо войны скрывалось под бинтами. В белой голове, точно в известковой скале, где уже отвалили камень, закрывавший вход в пещеру, чернело отверстие рта, над ним моргали два белесых глаза, подернутые дымкой боли.

— Что с Гедеминим? — мучаясь, спросила Бируте.

— Жив, — отвечал Кястас. — Поправляется.

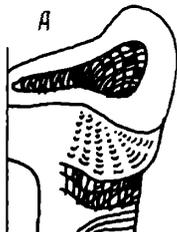
— Здесь, — забинтованной рукой она коснулась подушки. — Возьмите.

Кястас вытащил из-под подушки толстую общую тетрадку и раскрыл посередине:

когда нас накрыло ракетой
многих братьев убило
а живые потом выпили водки
и пили всю ночь
и пули свистели и трассеры светились
как звезды в августе.

149

Е Р А



— Что это?

— Стихи. Пусть будет пока у вас. Вы хороший человек.

— Ты ошибаешься, — нахмурился Кястас.

— Нет... — Бируте прикрыла глаза. — К плохому Гедемин не пойдет.

...Кястас стал заходить в костел Непорочного Зачатия на Малой Грузинской, и душа его наливалась силой и нежностью, пронизанная стрелами готики, формы столь возвышенной и чистой, что, глядя на нее, съеживались в смущении звезды.

Ксендз обратил внимание на голос нового огромного прихожанина — голос под стать росту, рокошующий шалаяпинский бас. «Учитесь, сын мой, — посоветовал святой отец. — Наш регент очень стар, ему уже девяносто...» Это путь спасения, понял доктор. Взял в больнице расчет, окончил регентский факультет Римско-католической духовной католической семинарии — не в Риме, конечно, а в Минске, и вернулся на Малую Грузинскую. Бируте, как когда-то за Салманом, пошла за спасителем Гедемина, попросилась в костел уборщицей. «Аве Мария...» — Голос молодого регента, как вожак гусиного клина, вел хор, резонируя в сводах несказанно прекрасного храма, наполненного органом. Бируте собирала в жестяное ведро огарки под иконами, и слезы из ее обожженных глаз мешались с наплывами оранжевого воска в золотых чашечках подсвечников.

Страшный июль конца первого десятилетия нового века был на исходе. Птицы гибли на лету от зноя, как от холода. Элитная рыба, стерлядь и форель, привыкшая к холодной воде, подыхала в сонном бульоне водоемов. Нескончаемый потный ад струился над землей.

Вечный студент Михалыч с тяжелым чувством ехал с поминок по Филиппу Константиновичу Попкову. Сердце непотопляемого негодяя не выдержало испытания жарой, и черная его душа отлетела. На Ваганьковском пекло невыносимо, но, когда Михалыч встретился взглядом с жутким мальчишкой, Филиппом Вторым, — по коже продрал мороз. На поминках Внучок сел напротив и сказал так, чтоб слышал один Михалыч:

— Ты мне не нравишься.

У Михалыча еще больше пересохло во рту.

— Ты мне тоже.

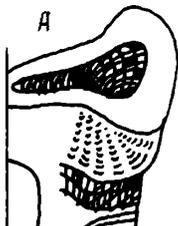
Он быстро выпил, съел блин с икрой и поспешил уйти. Хотелось разрядки, простоты, стрекозиной легкости и прозрачности. Подумал-подумал — да и зарулил к Алиске.

Алиска шлялась по дому совершенно голая и очумевшая, но Михалычу обрадовалась.

Они сидели в холодной ванне и пили кир: белое вино со смородиновым соком и льдом.

— Классно, — смеялась Алиска, — как буржуи!

«Женюсь, — думал Михалыч. — Вот ей-богу, женюсь... А что? Деньги есть, дом строится, девка она добрая, хоть и чокнутая...»



— Алисия, а сколько тебе?
— Тридцатник, — без кокетства рапортовала девушка.

— Здорово, мне тоже. Бальзаковский возраст... — И Михалыч расхохотался, настолько это куртуазно-пышное определение не вязалось с наивной и безбашенной Алиской.

— Ты меня любишь?

— А ты?

— Я первая спросила.

— Хорошо. Люблю, — соврал Михалыч. — Теперь ты.

Алиска плеснула ему в лицо водой и провыла замогильным голосом:

— Обожаю-у-у... — но тут же погрузилась и сказала растерянно: — Я же тебя совсем не знаю... Ты, наверное, бросишь меня. Меня все бросают, — простодушно призналась Алиса. — Как деву Февронию. И ничего. Никакого им наказания язвами.

— Но я тебе нравлюсь?

— Конечно, нравишься. У тебя такие усы...

Из какого-то непонятного принципа Михалыч никогда у Алисы не ночевал. И к себе не звал. И вот в отличном настроении, забыв Филю и его страшного внука, постепенно остывая в своем порыве поселиться с Алиской в новом доме в Пахре, а приняв, наоборот, решение закончить наконец институт и работать по специальности где-нибудь на телевидении, поздно вечером он возвращается к себе на «Войковскую». Его встречает испуганная мама и говорит: «Там к тебе... пришли...» Михалыч

заходит в комнату и видит каких-то людей в штатском, но с отчетливо милицейской внешностью.

— Станислав Михалыч? — как бы спрашивают, но в то же время утверждают они. — Барабанов? У нас ордер на ваш арест.

К Эдику по утрам приезжала аккомпаниаторша. Эдик распевался и думал, что надо кончать с траурным бездельем, пора возвращаться в большое искусство. Он раздраженно косился в окно: там, в саду, целыми днями валялся в гамаке и дрыхнул Фома. Однажды суровая, сухая и прямая, как палка, Серафима Яковлевна спросила:

— Эдуард, почему ваш охранник все время спит?

— Это не охранник, — смутился Эдик. — Это... ну... это сторож.

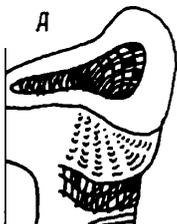
Серафима подняла бровь:

— Вы знаете, Эдуард, мой папа всегда говорил, что прислуга должна быть занята, это отвлекает ее от глупых мыслей.

Эдик злился на Фому и на себя, трудно было поверить, что еще недавно он был страстно влюблен в эту скотобабу, добивался взаимности... Горячая волна стыда окатывала тонкого артиста при воспоминании о том, как они с Фомой на глазах у всех барахтались в засаленных простынях, на узкой скрипучей койке, и его постыдный любовник, эта грязная свинья, матерился и рычал, заливая бедного Эдика своей поганой спермой... С возвращением к «мирной» жизни любовь прошла.

153

Е Р Д



Кукушкин запирался в спальне и плакал, обняв скрипку. Он просил у Додика прощения, и Додик, высокая душа, всегда прощал его; он являлся Эдику во снах, черногривый, гладил по щекам длинными пальцами и говорил: «Тебя сломали обстоятельства, ты не виноват. Не Фома ты сдался, мой Эдичка, ты просто, как мог, защищался от страшной, вульгарной жизни...» Так прямо и говорил.

Прогнать ленивую сволочь Эдик не мог. Фома был не просто тупой скотиной, отнюдь не коровой — он был быком, опасным Минотавром, которого надо любить. Вечерами Эдик все чаще выставлял своему мучителю побольше водки и ждал, когда тот упьется и скатится в беспамятство. Тогда он бывал свободен до утра, мог спать один, не опасаясь нашествия порожденного им самим чудовища.

И однажды Кукушкин решился.

Когда Фома храпел, мертвецки, по обыкновению, напившись, Эдик вывел из гаража «мокрый асфальт», к которому не прикасался пять лет, и за ноги выволок циклопа из дома, брезгливо сунув ему в карман штанов пятьсот рублей сотнями. Погрузил, надрывая пупок, бесчувственную тушу на заднее сиденье — и газанул, как в лучшие времена. Километров через сто съехал в лес, пробрался, переваливаясь через корни, поглубже... Выпихнутый из машины Фома рухнул в черничник и остался там пугать белок и птиц своим сырым оглушительным храпом.

Куда он потом делся, Эдик так и не узнал. Уж как-нибудь, да вышел к жилью: не зимняя тайга с

медведями — золотая подмосковная осень. Не пропадет. Кстати, если кому интересно, наутро, мучаясь страшным похмельем, с прилипшими ко лбу и щекам сухими иглами, весь испятнанный синим соком, Коля Фомин добрал до деревни Гнилово, купил у самогонщицы Мотылихи мутного зелья, похмелился — да там и остался. И вскорости сколотил из местных хулиганов небольшую фашистскую ячейку.

А Кукушкин-Палиди уехал на гастроли в Грецию и там познакомился с одним юным и прекрасным богом, которыми так богата эта земля.

От райцентра до деревни Покровка ходит раскаленный тряский автобус. Подъезжая к дому, Петр вдруг чего-то испугался, да так сильно, что попросил шофера притормозить и вышел. С километр шел пешком, пытаясь собраться, подготовить себя к встрече — совсем не радостной, а отчего-то тревожной, как контрольная по математике в детстве. Или даже зачистка в так называемых «мирных» аулах, где за каждым окном сидит старик, женщина или мальчишка и держит тебя на мушке.

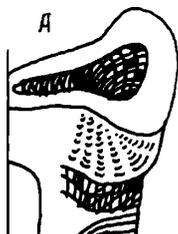
Петр не видел мать три года. Даже не знал, жива ли она.

Подходя к дому, наткнулся на соседку.

— Петька, ты, что ль?! — запрочитала бабка Настя. — Живой? А мы-то тебя схоронили...

— Чего это? Да не ори ты. Мать где?

— Слягла Ляксевна, как бумагу получила, что ранен, а после — молчок, так и слягла. Второй год



болеет — и сердцем, и ногами, так, до уборной доползет, а уж в огорода не копано, почитай, с год. Корову продала, мы уж ей — кто хлеба, кто чайка с сахаром, она сухарь-то натолчет, и сыта... Не верю, грит, что Петька помер, дождуся его, а так бы — уж давно на тот свет. Я-то за ей хожу, прибраться там, постелю перестлать — ничего силушек-то нет... Я грю: Ляксевна, ты б молочкя-то попила, для здоровья, хоть чай бы забелила... Нет, однями сухарями жива... Ох, Петька... Фундамен, ети его мать, сгнил на хрен, дом-то, глянть — скособочился, зараза, как мой дед.

Петя, не решаясь войти, оглядел фронт работ. Крыльцо ушло в землю, крыша осела, как лихо заломленная набок шляпа, и поросла бурьяном. На низком скате паслась коза, забравшаяся, должно быть, по прислоненной лестнице...

Мать лежала на высокой кровати, под стегаемым одеялом, не чувствуя жары. На скрип двери повернула голову в седых колтунах:

— Божечкя... А я знала, что вернесся... Сон нынчя выдала: на коне мой Петечкя едет, в красном картузэ... Сынок, ухо-то иде ж дявал?

Из всех углов на Петьку глядела убогая ветхость и запустенье: от печки тянулись к потолку клочья паутины, иконка и погасшая лампада под ней покрыты толстым слоем пыли, пол неметен, оконца и фотки на стене засижены мухами, клеенка на столе — в пятнах пролитого чая, тут же закопченный чайник и грязная фаянсовая кружка. От матери пахло невымытым старым телом и ветошью. Не больно-то бабка Настя ходила за больной...

Петька вывалил на стол бананы, тушенку, голову сыра, палку копченой колбасы.

К вечеру истопил сын баню и пропарил материны старые кости, так что заиграла каждая жилочка, облил из ушата, завернул в чистую простыню и отнес в кровать, уже застеленную желтоватым, в жестких складках, бельем из сундука. Алексева, вся розовая, с белыми прозрачными волосами, улыбалась робко и блаженно, как святая.

С этого дня помирать она вроде как раздумала. Маленькая, похожая на мышшь-полевку, проворно семеня по избе и двору, солила огурцы, доила козу, полола, чего-то все скоблила и чистила, лишь на минутку замирая, чтобы полюбоваться сыном.

Петька купил в городе полмашины кирпича, песку, цементу, стал подводить новый фундамент. Вечерами шел по полю на речку, уставший до гуда во всем теле — и только на четвертый день заметил, что рожь выродилась, поле одичало. А на пятый повстречал незнакомого, похоже, городского дядьку с треногой. Тот смотрел в маленькое окошко на вершине треноги и делал знаки другому дядьке, в дальнем конце поля.

— Здорово, мужики! — заинтересовался Петр. — Чего это вы делаете?

— Меряем, — не глядя, бросил геодезист.

— Зачем?

Геодезист оторвался от окуляра:

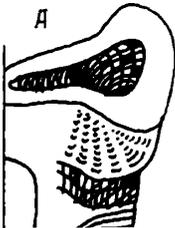
— Зачем-зачем... Стройка же.

— Какая стройка?

— Нам не докладывают. Наше дело измерить.

157

Е Р Д



Землю, рассказали соседи, Котов, паразит, продал, а эти, кому продал, строят теперь то ли фабрику, то ли комбинат какой...

Паразит Котов, по-современному глава администрации, а по-простому председатель сельсовета, с Петром объяснился коротко:

— Да пошел ты, контролер хренов!

Но Петр Сахронов, доблестный прапор, выволок паразита из-за стола и по-свойски объяснил, что земля — народная. Ночевал Петр в милиции, а вечером явился к Котову домой и осуществил свою любимую угрозу: сунул-таки паразита лысой башкой в очко.

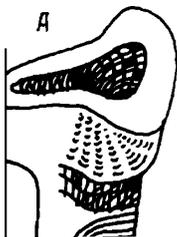
И началась очередная война Петра Сахронова. И темные силы противника на этот раз превосходили силы Безухого в неведомое количество раз. И не видать было этой войне ни конца, ни края.

Из окна вагончика-«каравана» в поселке *олимпиадашим* (новых репатриантов) на *территориях* открывалась пустыня. Желтые, охристые, коричневые холмы, одушевленные немногочисленной овцой под присмотром невидимых бедуинов, слившихся с тряпьем, фанерой и жестью своих якобы нищенских кочевий, к вечеру окутывались синими и фиолетовыми тенями. В далекой дымке редкими мучнистыми россыпями белели арабские поселения. Вблизи эти городки поражали своей грязью и обшарпанностью в диком сочетании с драгоценным иерусалимским камнем — собственно, как и

многие районы Тель-Авива, который Чибис не любил за мусор, пыль, жару и колониальную архитектуру, делающими столицу похожей на ненавидимый им жлобский Сочи. Вообще он мало что любил здесь — только море в Яффо и арабский рынок в Старом городе, куда его возили по выходным новые приятели Семен и Ася. Еще они вывозили Толика на Мертвое море, мрачное место, как из фильма о последствиях атомной войны: грязные люди на голом щебенистом берегу; оловянные воды, словно в тяжелом сне, что преследовал Чибиса всю жизнь — будто он на море, но купаться в нем нельзя, оттого что вода почти сухая, или вязкая, или стоит вертикально и грозно шевелится, как узловатый занавес в спектакле Таганки «Гамлет».

А еще они ездили на Кинерет, Генисаретское, представьте себе, озеро, где рыбачил Христос. Глаза уставали от зрелища смуглых скал, сжимающих ущелье. Отвесные стены уносились вниз, обнажая чередование кремовой и шоколадной породы. Горы таяли в мареве; на гребне — крепость, над ней — белое небо, выше — только ястреб. Похоже на Армению. «Знаешь, — обернулся на дикой скорости Семен, — когда я впервые попал в Армению, я сказал себе: это так же грандиозно, как Эрец-Исраэль». — «Но тогда ты же еще здесь не был...» — «Не был. Но знал».

Семен и Ася были бы очень хороши в качестве попутчиков и соседей, кабы не выводок их горластых детей, все крушащих на своем пути. Следовало бы, конечно, купить какую-нибудь поддер-



жанную тачку, но даже таких небольших денег у Толика пока не было. Соседи несли ему лишнюю утварь, старую мебель; подарили даже телевизор и ветхий, но рабочий кондиционер. Здесь все друг о друге заботились, настоящие товарищи по несчастью...

Зачем он поехал, зачем дал старой тетке Симе уговорить себя? Какой, к чертовой матери, голос крови, какая, на фиг, *репатриация*! Жалкий эмигрант, сорокалетний нищий, без работы и даже видов на нее, живущий на подачки великодушного государства и сердобольных соседей...

Программист? Беседер. Есть место сторожа, беседер? Мир — но с Голанами! Не уступим ни пяди! Земля без народа — народу без земли! Помни субботу! Беседер!

Язык Чибису давался с трудом, но в сторожа он идти не хотел. «Возвращайся, я без тебя столько дней!» — звал его Кузя. Но упрямство не позволяло Толяну вернуться.

Смертельная красота, смертельная тоска... Алиска, дева Феврония, где ты? Почему не едешь спасать меня? Не дает ответа Русь полукровкой Чибису. Не дает ему ответа и земля обетованная Иудея, о которой Чибис, в отличие от соседа Семы, ничего не знает да и знать, честно говоря, не хочет.

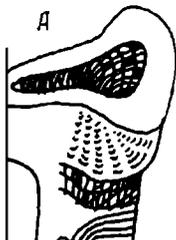
Кузя очень скучал без друзей. Святая Алиска без конца мотается к своему махинатору в Вологодское ИТУ, там за ней в городе и комнатка закрепилась, хозяйка любит ее и ждет с пирога-

ми. Чибис доходит в Израиловке. За что боролсь?

Одна радость — Кузя находил все новые свидетельства своей гипотезы о злостном и почти болезненном винолюбии Толстого, о его, будем называть вещи своими именами, запущенном уже к шестидесятым годам, к началу работы над «Войной и миром», алкоголизме. Кузе нравилась эта идея об интеллектуальной и физической мощи алкоголика, которая отражала именно способность русского народа пить до чертей, не теряя при этом ума и таланта, что исчерпывающе отразила поговорка «мастерство не пропьешь». Кузя выискивал свидетельства о приступах немотивированного страха, наступающих гения в самых будничных и простых обстоятельствах, — страха, который не мог быть ничем иным, кроме рецидивов белой горячки. Софья Андреевна писала о муже за два года до его смерти, что он сидел *«бледный, с посиневшим носом, плохо понимал, что вокруг него говорилось»*, а доктору и близким объяснил, что крепко спал, а проснувшись, все забыл. И главное, *«тут был брат Митенька»*. А брат Митенька уж пятьдесят два года как ушел в лучший мир! Хорошо, допустим, склеротические изменения в мозгу восьмидесятилетнего старика. Но «арзамасский ужас», на который Кузя наткнулся, читая письма, отрывки и неоконченные произведения? Началось с письма жене из Арзамаса от сентября 1869 года: «...Вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного

161

Е Р Д



мучительного чувства я никогда не испытывал...» Кузя прошерстил дневники Софьи Андреевны, но больше ничего не нашел. Зато очень кстати вспомнил повесть «Записки сумасшедшего», которую Толстой начал пятнадцать лет спустя и не закончил до самой смерти. Там он от первого лица описывает давешнее переживание. Дело происходит именно в Арзамасе, и нет никакого сомнения, что описание — автобиографично.

«Был коридорчик; заспанный человек с пятном на щеке — пятно это мне показалось ужасным... Я вошел, — еще жутче мне стало... мучительно мне было, что комнатка это была именно квадратная...

«Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего тоскую, чего боюсь?»

— Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут.

...Только улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска... как бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно... Все тот же ужас, — красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно...»

Перепечатаывая отрывок, Кузя чувствовал, как вдоль позвоночника рассыпается озноб. Переживания автора, знакомые каждому индивиду в состоянии делирия, волновали его необычайно. (Интересно, по Кузиному мнению, то, что сын Сергей Львович связывал состояние отца в момент «арзамасского ужаса» с болезнью *печени*.)

«О, как я угадал!» — восклицал Академик мысленно, вскакивал и бегал по комнате, крепко чеша

свою бедовую голову. Гениальный Толстой сумел описать неопишваемое. Да, да, именно страшно, сухо и злобно, так жутко, что хоть из окна прыгай...

Как это ни чудовищно, но в высшей степени сомнительная и даже дикая в своей лживости книга Владимира Кузнецова «Лев Толстой как зеркало русского пьянства, или Арзамасский ужас» объемом в тысячу двести страниц со временем вышла в крупном московском издательстве и имела невероятную по широте и восторгу прессу. Единственным трезвым рецензентом был полупомешанный на алкогольной почве Арсений Львович Войцеховский.

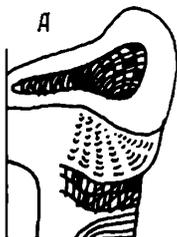
С уходом Кястаса больница осталась без руководства. Поэтому, когда Платон Касторский однажды утром проснулся вдруг совершенно здоровым (что можно метафизически связать со смертью Гниды Попкова) и на такси, поскольку мобильный Варелика оказался недоступен, приехал на работу, — он нашел запертый кабинет. Не обращая внимания на растерянное блеяние секретарши (торчавшей, как Фирс, одна на пепелище), распорядился:

— Найдите мне июньские посевы по четвертому отделению! — и открыл дверь своим ключом.

И вот, перебирая пожелтевшие листочки, он натывается на фамилию ЧИБИСОВ. Пробегает глазами описание посева: вибрион холеры Бенгал,

163

Е Р А



так, в поле зрения... все правильно. Он внимательно изучает листок и видит направление лечебного учреждения — инфекционное отделение Городской клинической больницы имени С.П. Боткина. Чибисов из Боткинской. А вовсе не Чибис из Майбороды. Чибис ведь он, а не Чибисов! — подсказывает Касторскому освеженная долгим сном разума память. Ошибочка вышла. Подпоручик, будем говорить, Киже!

Отсмеявшись, Касторский вызывает Фаину и командует:

— Готовьте приказ: приказываю снять карантин по вверенной мне МИБ имени...

— Какой карантин? — пугается Фаина. — Все сгорело...

У Платона в ненадежной голове что-то щелкает, и в этот момент дверь распаивается, двое санитаров в синих форменных куртках скорой психиатрической помощи, вызванные верной Фаиной, скручивают Касторского и увозят его на Загородное шоссе, в психбольницу № 1. Бывшую Кашенко, а ныне имени Алексева, того самого купца, который построил и печальную обитель Майбороды.

В середине сентября, на сороковой день после своей смерти, Энгельс в виде нематериальной субстанции явился в дом родителей и grossов, переживших, к их горю, и своего мальчика, и девочку. За столом собралась порядочная компания, гово-

рили лживые, но искренние слова. «Ах, как меня любили, как я радовал их всех своим легким веселым нравом», — безмятежно отмечала душа, по поверью освобожденная в этот день. Теперь Энгельс мог лететь куда ему вздумается.

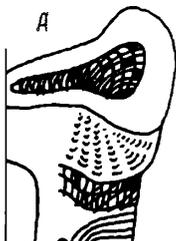
— Нематериальная субстанция, — обратился к нему Ангел, провожающий с сороковин (АПС), танцую в пыльном солнечном луче начала осени. — Где бы ты предпочел витать в ближайшие миллион лет? Могу предложить орбиту Сириуса, созвездие Гончих Псов, Волосы Вероники... Это в вашей Галактике. Но есть множество неосвоенных пространств в других частях Вселенной...

— А где у вас рай? — что-то подсчитав в уме, поинтересовался Сева.

— Какой рай, душа моя, — засмеялся АПС. — Это ваши выдумки, смешные человечки. Рай, если хочешь, здесь, на вашей малоинтересной Земле. А у нас — вечность и бесконечность... Выбериай.

— Да я на Земле-то... да что там, в России мало где был, — смутился Энгельс. — Если честно... Знаете, я ведь очень рано стал нематериальной субстанцией. Мне бы, если честно, хотелось еще пожить... тут, среди своих...

— Увы, это невозможно. Уже очень скоро, минут через двадцать, выталкивающая сила материи вытолкнет тебя в космос. Хотя есть одна область, откуда можно возвращаться — не совсем на Землю, но в человеческие сны. Это ареал памяти. Но имей в виду, в твоём случае это очень тесное пространство. И слишком короткий приют.

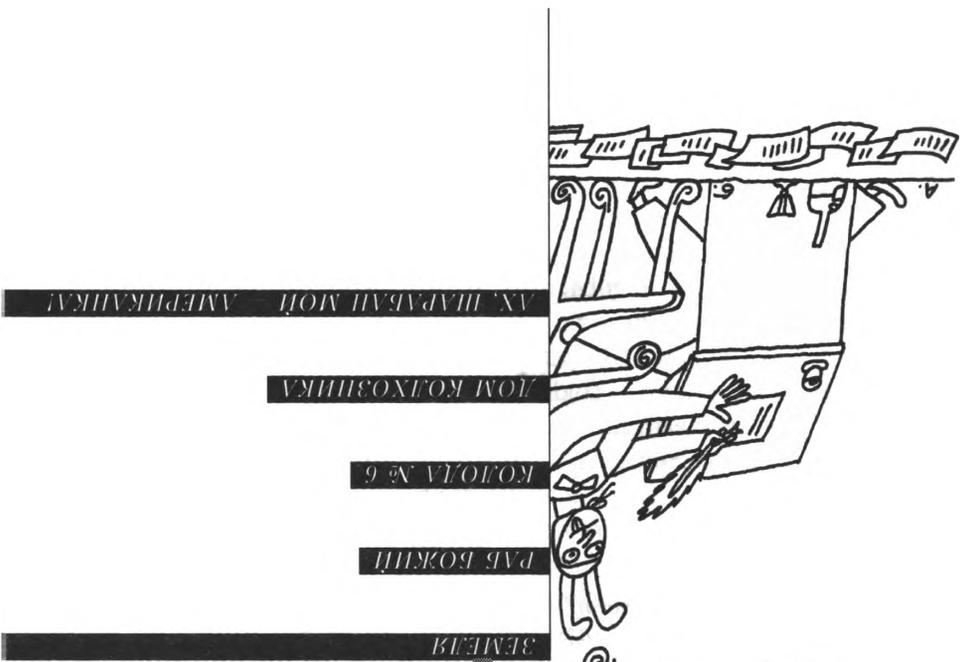


— Ничего, я посижу там пока. А уж потом мы вместе, как говорится, с родными и близкими... в звезды врезываясь, да?

— Как хотите, — сухо отвечал Ангел, закончив свои танцы.

Так хитрый Энгельс нашел дело по его душе — навещать спящих и вешать им на уши всякую лапшу. Это было хлопотное занятие. Только успевай поворачиваться.

ПОБЕДИ ЗАПЦЕВА



АХ, ПАРВАЯ МОЯ АМЕРИКАНА!

ТОМ КОЛОЗНИКА

КОЛОТА № 6

РАБ БОКНИ

ЗЕМЛЯ

*Посвящается моей учительнице
литературы
Майе Абрамовне Лозовской*

Нет никакого интереса в том, как плоды закоренелой праздности моего давнишнего знакомого, с которым в юные годы мы нередко откупоривали бутылку дешевого напитка там, где нас заставляла жажда: в беседке какого-нибудь двора, в чашлом столичном скверике, в залитой ярким светом мастерской его подруги — текстильной художницы Гришки, всегда в компании ее застенчивого сожителя, а нашего сокровенного дружка Батурина, — но чаще всего в одном из теплых подъездов центрального радиуса, — нет ни интереса, ни, следовательно, смысла рассказывать, как именно попали ко мне эти незатейливые сочинения, каковым предавался в тот период времени мой, а также Батурина испытанный собутыльник и попутчик Зайцев Миша, вконец одурев, вероятно, от многомесячного дворянского безделья. Был он в ту пору студентом, оставаясь им значительно дольше положенного срока. Зайцеву, как и Батурина, охотно предоставляли академические отпуска и не отчис-

ляли из учебного заведения, невзирая на их циничное тунеядство. Заведение художественно-текстильного профиля, по преимуществу женское, весьма ценило редких обучавшихся там самцов, независимо от их академического прилежания, и делало им всяческие необоснованные поблажки. По этой же причине так называемая Гришка, любимая сожительница, а впоследствии жена Батурина, уже окончила курс наук и зарабатывала весьма приличные деньги ручным раскрашиванием тканей как утилитарного назначения: платок ли, шаль, фуляр или газообразный шарф — так и чисто декоративных батиков, — а сам Батурин совместно с Зайцевым сидели у нее на шее. Пили портвейн, пели глупые песни и писали: Батурин очень забористые картины на клеенке с опоясывающими надписями, которые он, не трезвее никогда, сочинял на пару с Зайцевым; Зайцев же Миша, мужчина гучный, бородатый и лысый с двадцати одного года, уходил вдруг ни с того ни с сего из жаркой мастерской или из уютного подъезда, ехал куда-то «к себе» и тоже писал — вот, как выясняется, вот эти вот самые прозаические фрагменты. Узнала я об этом чисто случайно и от людей практически посторонних. Зайцев в то время находился уже где-то на излечении, хотя, возможно, что и за границей. Никто не знал этого наверняка. Более я не встречала его никогда. Тот пожилой господин — толстый, бородатый и лысый, которого я вижу ежегодно на именинах у старинной своей приятельницы из круга бывшего *underground'a*, — хотя и очень похож на Мишу

Зайцева, и даже зовется, кажется, Михаилом Ефимовичем, ровным счетом никакого отношения к спутнику моих антигравитационных скитаний по годовым кольцам заснеженной и цветущей Москвы не имеет. Мало ли на свете толстых, лысых и даже бородатых. Может, даже больше, чем худых, курчавых и бритых. Определенно больше.

Кроме этих незрелых, местами бессмысленных и не всегда грамотных каракулей, от Зайцева мало что осталось написанного его рукой. Маленькая записка мне из армии на обороте моей же порванной и таким глумливым образом склеенной фотографии, что верхняя губа по примеру заячьей приросла к носу, да и в целом черты моего миловидного лица искажены до неузнаваемости: «От поклонников Вашего обОяния». Затем бережно сохраненное Гришкой граффити зубной пастой на зеркале в санузле мастерской: «О харя!» И поздравительный с днем рождения лист тонкого картона с дырочками по углам, прибитый когда-то Зайцевым собственноручно над топчаном в каморке Батурина на станции Приветы Ильича, где тот иногда чванливо голодал в дни редчайших ссор со святой Гришкой; лист с небольшим похабным изображением Батурина ну и размашистой строфой: «Здесь были бабы боевиты, со спирохетой непривитой, недаром помнят все Приветы про дом Батурина!» Однако даже по таким скромным образцам доброму и памятливому другу не составит труда идентифицировать авторство Миши Зайцева с целью издания этих горестных замет.

При нашей последней прогулке по многолюдным и уводящим в иную, утопическую реальность аллеям ВДНХ, куда мы забрели в попытке снять тяжкий морок, наведенный на нас нашим безрадостным другом Хлесталовым, то и дело лезущим в петлю и в последний момент вынимаемым оттуда неунывающей женой, — мы забрели в еще более фантастическое пространство, завихряющееся озонными потоками вокруг могучего генератора энергии многократно и многотонно сублимированного либидо.

Серый бетон под ногами и стальное небо над головой гудели от смертельного напряжения андрогинной идеологии, уловленного подъятой антенной дерзкой конфигурации. Прямолинейный мужской удар как бы перечеркнут стройной округлостью женского подсекающего движения... С определенной точки, стоя у самого подножия неслыханного стального андрогина, можно видеть символические атрибуты в волнующем ракурсе, слитыми в порыве созидательной нежности и единомыслия.

Придя в страшное и оправданное возбуждение под воздействием этого материально-эзотерического феномена, Зайцев попытался заключить в объятия пьедестал, распростершись по нему, как Антигона. «Отлудить бы дуру в этом роде и умереть спокойно, гадом буду!» — просипел он неразборчиво — и вдруг побежал куда-то, паруся полами грязного кремового плаща. Быстро тая в ранних осенних сумерках, мой романтический товарищ догнал трамвай — и я осталась совсем одна перед лицом мучительных загадок.

Не думаю, что пачка неряшливых бумаг, среди которых — бланки, рекламные листовки, обои и различные обертки, — попавшая мне в руки, проливает необходимый или хотя бы достаточный свет на тот клубок несообразностей, каким являлась жизнь Миши Зайцева как типа. Предлагая их к изданию, я преследую исключительно онтологические цели выведения общих закономерностей бытия, с особой яркостью выраженных именно в его случайностях.

З Д Й Ц Е В Д



По-настоящему я стал понимать, что означают слова «пройти огонь, воду и медные трубы», когда наш в общем-то друг Хлесталов, законченный, но блестяще одаренный шизофреник плюс запой, вдруг взял да и написал отличную антисоветскую повесть из жизни психушки. Эту жизнь Хлесталов знал изнутри, но не в качестве больного, как можно было бы не без оснований подумать, а, наоборот: в качестве врача, а именно психиатра-нарколога, хотя это нечастый случай, что нарколог является запойным шизофреником. «Врачу, исцелися сам!» — могли бы эффектно воскликнуть его пациенты, пошляки и негодяи, если бы знали о родственном пороке лечащего доктора. Но Хлесталов, блестящая личность, блестяще держался на работе. Включая неведомые простым людям аварийные системы организма, был собран, точен и властью над алкоголиками обладал неслыханной.

Стоило ему только взглянуть своими матовыми, без дна, глазами в мутные зенки клиента и

произнести матовым голосом: «Вы испытываете звенящую легкость, мысль об алкоголе вызывает у вас отвращение, вкус водки ужасен, вы не в силах проглотить ее, не в силах справиться с рвотным спазмом», — и клиент начинал давиться и послушно блевать в ловко подставленный Люсей тазик.

Зато дома Хлесталов расслаблялся. Надраться норовил немедленно, в прихожей, не снимая башмаков, в самые сжатые сроки. Невозмутимая Суламифь Рыжик, закаленная девятилетним браком с Хлесталовым, не обращала внимания на недочеты в его поведении и только старалась ликвидировать недопитые бутылки, если вдруг случались, что, конечно, утопия. Впрочем, почти всегда Хлесталов приносил с работы в кейсе гонорар в лице то виски, то коньяка, то дорогой водки, эквивалентно выражающий степень благодарности изцеленных, поскольку самим теперь без надобности.

Два-три раза в месяц Хлесталов дежурил по отделению вне очереди и брал за то отгулы. Таким образом, у него выпадало подчас до пяти дней отдыха, в ходе которых он пил безостановочно, и куда в эти дни воспарял его дикий дух, не знал ни майор Токарев, ни даже товарищ Петраков, звание которого осталось для Хлесталова тайной — но об этом потом. В указанные лихие периоды у Суламифи Рыжик была одна забота: не проворонить, когда Хлесталов полезет вешаться. За этим немудрящим занятием она, кстати, застала его как раз девять лет назад, после едва ли не

175

З А Й Ц Е В Я



первой сессии обморочных поцелуев на лестнице. Суламифь тогда завопила не хуже роженицы, и пьяный Хлесталов с перепугу свалился с табуретки, на которой стоял, замечу, в носках. В тот же день самоотверженная крошка Суламифь Рыжик поволокла своего избранника в ЗАГС — чтобы на законном основании не менее двух раз в месяц год за годом вынимать любимого, как говорится, из петли. Так что совершенно непонятно, когда умудрился Хлесталов написать свое художественное произведение диссидентского профиля, — но факт налицо.

Рукопись, как обычно, переправили за границу, — и в один прекрасный день радиоголоса хором залопотали о Хлесталове, а по «Свободе» некто сонный невыразительно прочитал здоровый кусок, целую главу из повести «Баллада № 6».

В этой главе герой, странный персонаж, обладающий способностью выпадать из времени и посаженный в связи с этим в засекреченную психбольницу особого режима, переносится в будущее своей страны. Кругом гражданская война, разруха и голод, Кавказ и Крым стерты с лица земли, а в бункере, куда попадает герой, сидит диктормифиози, в котором путешественник во времени узнает старшего санитаря своей клиники, садиста и тайного агента. Диктатор одержим манией стрельбы по живым мишеням. Героя ведут в тир, где на полках, скорчившись, сидят мужчины, женщины и дети, заложники диктатора. Их поставляют ему гвардейцы, отлавливая после комендантского часа в столице и пригородах. В течение суток

их должен заменить собою доброволец: мать, отец, жена, брат...

Если волонтера не находится, мишень используют по назначению. Параноидальный режим садиста-диктатора привел к тому, что почти все заложники остаются невостребованными. Человеческие связи распались, и людьми правит исключительно страх. И сама война, которой не видно конца, — это материализованная ненависть каждого к каждому, которую породил тотальный страх. В этой войне нет армий, люди просто убивают друг друга под любым предлогом. Так называемая гвардия выполняет функции тайной полиции, поскольку даже в этом психопатическом обществе таятся по щелям свои правозащитники.

Мы слушали «Свободу» вместе, сидя у автора на кухне. Сочинение Хлесталова заставило меня по-новому взглянуть на сумасшедшего старшего товарища, досасывающего рядышком свою бутылку. Хлесталов был русским писателем, вот что я вам скажу! Да, пропитым суицидальным занудой, да, домашним тираном, но при этом — не совестью ли нации? Бытует ведь и такое сочетание. Вот какого рода оценки диктовал мне обостренный в борьбе с глушилками слух.

«Сильвио вел меня вдоль длинных стеллажей, наподобие библиотечных или архивных. Затекшие полумертвые существа, которых я бы не решился назвать людьми, смотрели мимо нас пустыми глазами. Внезапно среди этих теней, к которым я не мог испытывать сочувствия, как не испыты-

177

З Д Й Ц Е В Д



вал бы его к картонным уродам, марионеткам, — блеснули живые глаза. Я увидел малыша, бледного, с крупной, наголо бритой головой. Замедлив шаг, я непроизвольно потянулся к нему: гуманитарные рефлексы то и дело выдавали меня на этом шизофреническом маскараде. «Купишь меня, кэп?» — сипло спросил мальчишка и опасно покосился на Сильвио. Тот заглянул в планшет. «Через сорок пять минут тут истекает... — Сильвио со скучающим видом слегка махнул пистолетом в сторону мальчика, как экскурсовод указкой. Вдруг рябоватое лицо его оживилось. — Слышь, ты ведь сам пришел ко мне, чудило! Я хочу, чтоб ты знал: я справедливый, цивилизованный человек, не варвар. Глупо умирать просто так. Напрасно мне приписывают бессмысленные убийства. Я — игрок. Каждый выстрел — ход в игре. Сейчас — ты мой партнер. Хочешь, шамальни сам. — Он опять указал пистолетом на мальчика. — Или можешь выкупить этот залог — заняв его место...»

Безумную речь Сильвио прервал звонкий лай — и это было дико здесь, в мертвой тишине бункера, куда и муха-то не залетит; было дико само по себе, потому что все собаки в городе были давно истреблены. Грязный клубок неся по проходу между стеллажами — и с разбегу прыгнул прямо в руки мальчику. Собачка принялась лизать лицо хозяина, тот зажмурился и шептал: «Что ты, что ты, что ты...» Сильвио заржал: «Вот и доброволец! Ну, поздравляю, мишень 318, хороший у тебя песик!» Почти не целясь, Сильвио выстрелил. Со-

бачка дернулась и ткнулась мордой мальчику в грудь. «Гвардеец! — крикнул Сильвио в глубь помещения. Загрохотали подкованные башмаки. — Убрать обоих». Сильвио был первоклассный стрелок. Пуля пробила собачий череп и вошла в стену, не задев мальчика, точно в след другой пули, а может, и трехсотой, может, они все входили след в след».

Суламифь плакала. Хлесталов выдоил последние капли и, не донеся стакан до рта, поехал затылком по стене, уснул.

Проснулся Хлесталов знаменитым, о чем узнал после обеда по месту службы. В кабинете главврача, дмн Пашенко Петра Петровича, сидели освобожденный парторг Апресян, непримиримый кадровик Удалов, а также два товарища со стертymi лицами, двое таких примерно шатенов. К изумлению Хлесталова, дмн Пашенко сидел в кресле у окна и, дымя сигаретой, посылал ему некоторый особый взгляд, значение которого Хлесталов распознать не смог. А с рабочего места дмн, из-за могучего, бильярдного масштаба стола, скромно выглядывал один из шатенов, помоложе и как бы погуще.

— Присаживайтесь. — Шатен приветливо назвал Хлесталова по имени-отчеству и показал ладошкой на стул возле длинного стола, в традициях советского канцелярского дизайнера образующего букву «Т» с бильярдным. Хлесталов уселся рядом с шатеном постарше (и пожиже), напротив усатой Апресян. Удалов, занявший позицию в основании буквы «Т», неприятно вытянул шею: «Доиграл-



ся?» — но и сам получил по укоризненному взгляду от обоих шатенов и тук-тук ногтями по полировке от Апресян.

— Майор Токарев. — Старший шатен заглянул Хлесталову в глаза, однако руки не подал и даже спрятал ее под стол. Моложавый, наоборот, пришвартовался к Хлесталову и нежно потряс ему ладонь обеими руками.

— Петраков, — сообщил он. — Алексей... можно без отчества.

Таким образом Хлесталов оказался зажатым между обоими шатенами. Осторожный дмн Пащенко взгляд свой погасил и сосредоточился на пепельнице.

— Как ваша рукопись попала на Запад? — дружески спросил безотцовщина Петраков, а усатая Апресян, закрыв глаза и массируя веки, шептала: «Кому верить, на кого ставить?»

Хлесталов не стал множить число риторических вопросов и удивляться типа: «Какая рукопись?» Участь его была решена, и это было ясно даже ему самому при всей беспечности, порожденной сенильными процессами.

Приятный товарищ Петраков и майор Токарев еще не раз встречались на жизненном пути Хлесталова, и всякий раз он с симпатией вспоминал первую встречу с ними, вестниками его славы, в кабинете дмн Пащенко, в тот же день подписавшим приказ об увольнении выдающегося специалиста, несвоевременно впавшего в ересь диссиды.

После обыска в квартире вездесущая «Свобода» прислала к Хлесталову исключительную блон-

динку в рубашке, расстегнутой по солнечное сплетение...

Оперативная блондинка тем же вечером вышла в эфир — и очень скоро иностранные корреспонденты, которым суждено было вслед за декабристами и Герценом сыграть свою озорную роль в великой российской побудке, протоптали в заплыванный подъезд Хлесталова свою незарастающую, как казалось, тропу. Они неразборчиво бормотали «мадам», приподнимали перед Суламифью кепки и гребли в грязной обуви мимо нее в единственную комнату — лабораторию новой футурологии, студию восходящей звезды советского нонконформизма — Клезталофф'а. Его имя упоминали рядом с именами Войновича, Ерофеева, Аксенова, Кабакова, а Марго в одной из передач дерзко сравнила его с Оруэллом.

Вот и загудели в уши Хлесталова медные трубы славы. И побрел он, спотыкаясь, сквозь них, алкаш и безумец, сжимая ладонями бедную больную голову, в которой голоса труб резонировали, как в новостройке. Таким Хлесталова застало начало так называемой перестройки. В марте — апреле 85-го он еще успел отсидеть полтора месяца в Бутырках — за тунеядство, после чего ихние буржуи и наши правозащитники прямо помешались на нем. Его наивно приглашали с лекциями в Вермонт, на какие-то симпозиумы под эгидой ООН, «Балладу» перевели на пятнадцать языков, и в пятнадцати странах его ждали сумасшедшие гонорары. Оформляться за границу он даже не пытался, но наверстывал здесь — по посольствам

181

З Д И Ц Е В А



и вернисажам, откуда его транспортировали разнообразными иномарками и сгружали, бесчувственного, на руки резко постаревшей Суламифи.

Повсюду, не таясь, Хлесталов мелькал с раскованной блондинкой со «Свободы» — Марго Оболенской и как-то вдруг прекратил вешаться. У него появился «круг». Явление новое для Хлесталова и глубоко чуждое мне. Он приобрел труднопереносимую манеру — где бы мы ни встречались, по-птичььи вертеть головой в поисках знакомых, говорить отрывисто, переспрашивать и поминутно поглядывать на часы. И хотя Марго, свойский кадр, мне нравилась, — я отчего-то стыдился гонять теперь чай с Суламифью, которую нежно любил, — и не стал бывать у Хлесталова. А в «круг» меня не тянуло. Да и, по правде говоря, не звали. Так постепенно и перестали видаться, и совесть нации пропала из виду. Вот почему я изрядно удивился, когда в ресторанчике у Гришки (он так и назывался), при котором мы с Батуриным в этот период времени кормились, из последних сил держа маленький, так сказать, «салон» — книжную лавочку с галереей, — зазвонил телефон, и в трубке раздался тихий матовый голос. Как в прежние времена, то и дело откашливаясь, что служило у него признаком опьянения средней тяжести, мой бывший товарищ сказал: «Старичок, хочу проститься. Уезжаю в Азию... кх-кх. Шутка. В Европу, конечно, кх-кх. Вот, отвальная, значит, кх. Хочу, чтоб ты непременно был. Непременно. Кх. Не обижай, старичок, жду. И Суламифь тебя требует, непременно! Кх!»

Хлесталова с некоторых пор уже выпихивали за границу, но он не желал уезжать, как ни обрабатывали его приятный безотцовщина Петраков с майором Токаревым. «Я русский писатель, — возражал Хлесталов, — русский врач, здесь мои корни, мой язык, мои алкоголики». Алкоголики, спору нет, были. Но, слышал я от редких общих знакомых, назвать их пациентами Хлесталова можно было с тем же правом, что, допустим, меня — пациентом Батурина и наоборот. И даже с меньшим, потому что Батурин — мой просоленный дружок и способен порой реально облегчить мне нравственные муки. А Хлесталов пил теперь с людьми холодными и случайными. И пил-то все больше виски да кампари. Какой уж тут контакт душ, какая психотерапия... Что же до русской прозы, то я действительно читал как-то в «Огоньке» рассказ Хлесталова о нравах Бутырской следственной тюрьмы, которой, как следовало из текста (а в подтексте уже не было нужды), автор отдавал все-таки предпочтение перед родными психбольницами. Рассказ существенно уступал «Балладе» по части пресловутого русского языка и, конечно, сюжета, изобиловал физиологическими подробностями, мятежным сарказмом и навязчивыми воспоминаниями о половых актах — словом, лежал вполне в русле перестроечной диссидентской прозы, многословной, залитой спермой и «беспощадным» голым светом стосвечевой лампочки без абажура.

Подозреваю, умный Хлесталов правильно понимал природу своей славы и догадывался о ее

103

З А Й Ц Е В А



узкорегинальных свойствах. Мир чистогана отпугивал умного Хлесталова своей деловитой свободой, равнодушной к былым заслугам. За каким чертом едет он сейчас, в девяностом почти году, когда по крайней мере в нашем столичном городе закипела жизнь и развязались языки? К тому же Марго, как было мне, радиослушателю, известно, вовсю шаршит для своей развязной станции в Москве...

Я пришел в назначенный час. Народу было много, но не так, как обычно бывает на проводах, когда на всех лестничных клетках клубятся смутно знакомые друг другу гости и двери не заперты до утра. Все добро уже уложено. Оставались одни голые стены да стол — но зато нормально накрытый, а не бутерброды по углам.

Приличная публика, даже один военный. «Подполковник Токарев, — представил его Хлесталов, обнимая нас обоих и как бы понуждая обняться и нас. — Образец уникального человеческого упорства». Он напоил меня шампанским, эта упорная сволочь подполковник, хотя всем известно, как ненавижу я вашу шепелявую газировку, и приглашал к сотрудничеству: у тебя открытый взгляд, говорил офицер, но бороду, извини, придется сбрить. Суламифь уже надела халатик, — а эта скотина все хрипела мне в ухо: «Как думаешь, где он прячет рукописи?»

Наконец выпроводили всех, и Хлесталов сел в прихожей на пол, вытянув ноги поперек коридора.

— Миха, я вижу, ты за что-то сердиться на меня... А мы, может, никогда больше не увидим-

ся, — с трудом проговорил, пытаясь из своего партера сфокусироваться на зыбкой моей фигуре. — Я, конечно, болт забил, кто там чего обо мне думает... но тебя я люблю, кх-кх. Прошу: поговорим, старичок... Подними меня.

Мы, как встарь, утвердились на кухне, чтобы не будить старенькую детку Суламифь, уснувшую со скорбно поджатым ротиком. Хлесталов был озабочен; не осталось и следа от его судорожной веселости. Долго копался у себя в карманах, сопя: «Да где ж она, где ж ты, красавец, куда ж я тебя захерачил... — Наконец извлек сложенную вчетверо бумажку, развернул и сунул мне под нос: — Полюбуйся. Нравится?» Это был ксерокс казенного бланка с каким-то списком. Одна фамилия в списке отчеркнута маркером. Рядом в кавычках — «Краснов». Потом — дата, еще какие-то цифры. Сверху на бланке гриф «СС ДВП». Видимо, «совершенно секретно, для внутреннего пользования»?

— Именно для внутреннего. А теперь будет для внешнего! — Хлесталов довольно захохотал и ударил меня по позвоночнику.

Вот какую историю в духе анамнеза услышал я от Хлесталова.

— Пару лет назад я, модный писатель и авторитетный диссидент, персонаж советологических сплетен, короче — популярная фигура прозападной московской тусовки, привычно балдел в лучах неожиданной и, допуская, незаслуженной славы, пользуясь щедротами известной тебе Марго Оболенской. О нашей связи знала вся Москва, знала,



конечно, и Суламифь. С этой Марго я вконец обезумел. Я тебе не говорил, старичок, но ведь мы с Суламифью давно не это самое... — Хлесталов произвел вульгарный жест, хлопнув ладонью по кулаку. — Жили по-соседски, спали в одной постели — ноль эмоций. Я прекрасно к ней отношусь, она святая, жизнь мне сколько раз спасала, я безумно ей благодарен... Видимо, это и подавило во мне нормальные эротические рефлексy — эта убийственная гипердуховность...

Короче, старичок, к моменту судьбоносной встречи с Марго я представлял собой сексуальный курган, триумфальную арку импотенции. Квалификацию пока что не растерял, мог поставить себе диагноз... Суламифь не роптала, она любила и любит меня, бедная, как сына. Как несчастного сынка-придурка. Ей бы, дурехе, хоть на ноготь б...ства! Не верь, старичок, если тебе будут говорить, что импотенцию можно вылечить в одиночку. Ну и Марго... О, Михаил, талантливейший кадр, поверь мне! Явилась — и вот, значит, зажгла... Старик, она превратила меня в маньяка. Я хотел ее поминутно. Не мог жить без нее... Молчу. Да... Суламифь, повторяю, не роптала, но однажды, придя, как обычно, под утро, почти уже трезвый и весь пустой, как сланная посуда, — обнаруживаю эту дуру в ванной, белую в красной воде. Кровь еще сочится, а пульса уж и не слышать. Слава богу, вскрыла у запястья, а не у локтя, не задела артерию. Тоже ведь доктор. Надеюсь, думаю, чтобы не до конца... тоже понять можно. В общем, видишь, выпал случай оплатить должок.

С этих пор я забоялся оставлять Суламифь одну, пришлось брать с собой. Пару раз столкнулись с Марго — и в эти разы я напивался скотски. На джазовом вечере в одном дико элитарном клубе полез драться с ветеранами, разбил зеркальную стену, раскурочил саксофон. А когда меня вывели, помню, еще некоторое время блевал на крыльцо. Одного сакса, ты понимаешь, было бы достаточно, чтоб меня уже в приличные места не звали. И я, правда, выпал из тусовки. А значит, старичок, в моем случае — и из жизни. Меня перестали упоминать. Кстати, и рукопись книжки вернули. С извинениями. Мемуары о совковом детстве... Пришел, видишь ли, новый редактор из юниоров и изволил назвать мой текст «отработанным паром». За несколько месяцев я дал единственное интервью — каким-то педрилам для их листка. Так эта падаль тиснула шапку: «Супермен Хлесталов сочувствует голубому движению и готов пополнить его ряды!» В общем, добро пожаловать в полную и окончательную депрессию. Глухо, как в танке. Не говорю уж о запое... Тут, как водится, выползает на свет божий Токарев — давно его видно не было. Они ведь меня как начали пасти, так всё и вербуют, даже подружились на этой почве. Чума: пью четвертые сутки, весь синий, — этот приперся и заводит свою песню о помощи органам. Дал ему по зубам — старик в слезы... Веришь, заплакал, старый козел. Совсем я осатанел. Ну и, короче, к вечеру моя дуреха сызнова, как в старые добрые времена, сняла меня с табуретки.

187

З Д И Ц Е В Д



Хлесталов закурил. Бухая бледность, горящие глаза делали его похожим на оперного черта.

— И вот, — продолжал он, — спустя месяцы забвения выпадает мне из ящичка заветный конвертик: билетик на мелованном картоне с золотым тиснением. Пан посол имеет честь пригласить пана с супругой на прием в честь выхода в свет антологии польской поэзии, посвященной чьему-то там 150-летнему юбилею.

Супруга бежит к соседке, пан чистит смокинг — да, представь, старичок, завелся у супермена Хлесталова и гардеробчик... И вот мы у посла! Прием домашний, в суперэлегантной квартире, гость отборный, дамы с голыми лопатками, моя рыженькая в ногах путается, сияет, варежку разинула; вцепился ей в локоть, волоку гордо, — у нее неделю потом синяки не сходили. Все классно. Целую послице ручку. Пью сок. Аплодирую какой-то персоне — национальный герой, перевел всю польскую литературу на кучу языков, его стараниями вышла и эта антология, хоть я, правду сказать, о нем в жизни не слышал. Смуглый красавец, теннисная выправка, галстук от Верса-че... Ну — Хлесталов отдыхает.

— Пан Хлестауов, — картавит тут очаровательная послица, — проще, — и ведет меня сквозь толпу к этому переводчику. А рядом, ослепительной спиной ко мне, стоит с сигареткой на отлете пани в набедренной повязке, и нога под ней — как Смоленская дорога... Белокурая гривка лежит по таким голым плечам, что я пускаюсь вскачь, забыв про мою Золушку.

— Пан такой-то, — поет послица, — жеуаю вас знакомить с паном Хлестауовым, проше, панове...

Пан лучезарно улыбается, голый торсик неторопливо разворачивается... Да, старичок, ты угадал. Марго. Мило ахает, целует меня в щеку, после чего совершенно паскудно прижимается всем фронтом к переводчику и мурлычет:

— Дорогой, это тот самый Хлесталов, я тебе рассказывала...

— Аха! Автор нашумевшей «Баллады»! — вспоминает «дорогой», жмет мне руку и виновато улыбается: — Извините, не довелось читать других вещей. Думаю, они не хуже, нет, Марго?

И моя любовь кроит рожу, всегда сводившую меня с ума, задирает свои безумные плечи к ушам и театрально шепчет: «А разве он еще чего-нибудь написал?!»

Да, говорю сквозь зубы, но стараюсь держаться светски, по возможности скалясь. Написал, говорю. Роман-трилогию «Дающая в терновнике».

Она:

— Пан шутит. Пан намекает, что некоторые неразборчивы в связях. Пан совершенно прав. Кто не грешил по молодости лет!

В этот благоприятный момент ко мне пробились Суламифь. Очень кстати.

— Моя жена. — А что я мог еще сказать?

И эта наглая дрянь — что, ты думаешь, она делает? Заглядывает под стул и удивляется: «Где?»

Короче, старичок, ты опять угадал, я немедленно напиваюсь в хлам, теряю мою злосчастную Дюймовочку, но зато нахожу этого полиглота, которо-



го ненавижу сильнее, чем советскую власть. Ровненько, по половине подбираюсь к ним с Марго и остроумно интересуюсь типа: и что же ты в нем нашла такого, чего нет у меня?

Улыбается, сучка: «У него трусики чище». Согласись, конструктивно ответить на это непросто, тем более на посольском приеме. И я — веришь, чисто рефлекторно, в полном затмении ума, выписываю ей по роже. Содрать наконец эту ее ухмылку!

Крики, паника...

Дальше не помню. Помню только, как стою на площадке, и переводчик держит меня за мокрые почему-то лацканы. И в следующий миг писатель Хлесталов обрушивается вниз, мордой считая ступеньки. Старик, меня спустили с лестницы.

С тех пор не проходит дня, чтобы я не изобретал способа приложить этого аскарида, который разбил мне — не морду! — Хлесталов вдруг поднялся, шатаясь, и грозно потряс над головой неверным пальцем. — Не морду, — выкрикнул и зашипел, как утюг. — Не морду, — поучительно повторил он и строго глянул куда-то вдаль, — а жизнь! Старик, ты не знаешь, что значит быть спущенным с лестницы на глазах у просвещенной Москвы...

Я вообразил — и содрогнулся от приоткрывшейся бездны, от шекспировской силы ощущений, от этих смертных мук, неусыпно терзавших моего опозоренного товарища.

— Я ничего не мог делать и вконец обнищал, — продолжил Хлесталов. — Суламифь корячилась

на двух работах, а я мог только пить и ждать. Планы мести разьедали мне мозг, в любой момент за мной можно было присылать перевозку. А полиглот между тем женился (не на Марго) и забыл, конечно, и думать обо мне. Тем более живет он сейчас в... — Хлесталов назвал маленькую, хорошо развитую страну в Западной Европе, куда он и сам сейчас вострил лыжи. — Но теперь, — Хлесталов опять закачался над столом, как кобра, — мой час настал! — Он ткнул в совершенно секретный листок для внутреннего пользования. — Месяц назад моего Токарева отправили на пенсию. И даже не дали персональной. Старик обиделся на контору — и вот сделал мне подарочек. С одной стороны — по старой дружбе. А с другой — чтобы своим посильно поднасрать. Миха! — Хлесталов вцепился мне в плечи и вплотную приблизил серое лицо к моему уху. — За это можно все отдать... Не падай, старик: он был стукачом!

— Кто? — Я совсем запутался в переплетениях карьер.

— Конь в пальто! — рассердился Хлесталов. — Не Токарев же! Этот был у них внештатным агентом, в чистых трусах, ясно тебе, стучал под псевдонимом Краснов! И есть копии его рапортов! Там два на Марго, и вообще — кого только нет! Ты понял? Эльдорадо!

Я не понял. Хлесталов обругал меня кромешными словами и объяснил, как он приедет в маленькую культивированную демократию и упьется отмщением. Посмотрим, кого тогда спустят с лестницы!

191

З А Й Ц Е В А



Я молчал. Разнообразные предчувствия шевелились в моей, так сказать, душе.

Прошло несколько лет. Много всего унеслось по трубам канализационного чистилища, много стреляных гильз выкатилось под ноги обездоленных прохожих.

Мой женский товарищ и жена Батурина Гришка объявила, что в этом дурдоме она ложится спать практически без надежды проснуться не на пепелище, что у нее сын допризывник и в каком-нибудь горном ущелье его уже заждался над мушкой верный глаз, и что галерею гораздо разумней и естественней держать, допустим, в Сохо, даже и в нью-йоркском, а не на этих вонючих задворках, и что прав был сгинувший Хлесталов, когда писал свою чернуху.

— Ну и где сейчас твой Хлесталов?! — завывали мы с Батуриным, втайне понимая, что кто-кто, а наша Гришка не пропадет ни в Южном Бронксе, ни на Северном Кавказе, в судьбе которого, слава богу, было кому просечь и до Хлесталова.

В общем, мой женский товарищ сказочно московский бизнес продал и увез мешпуху в Штаты. И, как и следовало ожидать, прекрасно там все устроил. И поверь, читатель, если бы это был не остров Манхэттен с двухъярусной квартирой над собственным бутиком, а саманная мазанка в горном ауле, — я точно так же рванул бы туда по первому зову, потому что как муравей или, допустим, пернатый щегол один, без себе подобных не живет, так и мне без моих кислотников не было в жизни кайфа.

Поначалу, как и в московской юности, я сидел у них на шее. А если учесть, что Батурин вообразил себя потомственным русским купцом и целыми днями, слоняясь с радиотелефоном по квартире и валяясь с ним на диване, обсуждал вопрос учреждения в Нью-Йорке купеческого клуба, то можно смело сказать, что мы оба сидели на дву-жильной шее Гришки. В отличие от бывалого Батурина, эмигрантская обломовщина утомляла меня комплексами Макара Девушкина. Не с моими дедками — дамским портным из Харькова и ярославским шулером — шиться с дворянами и даже купцами.

Пятый этаж нашего дома занимала интернациональная семья профессора Б. Профессорша, американская феминистка из мадьяр и, по-моему, латентная лесбиянка, работала фотографом в женском журнале. Ее черный шестнадцатилетний сын от первого брака возглавлял небольшую комму-ну геев, по целым семестрам тут же, на пятом этаже, мигрирующих из комнаты в комнату. Профессор, русский мученик политкорректности, мог тайком жаловаться только нам, заглядывая порой по-соседски с квадратной бутылкой по-прежнему чуждого мне виски, отдающего, по моим наблюдениям, соломой, пропитанной к тому же лошадиной мочою. Еще там у них тихо ловила глюки подкуренная тинейджер монголоидного происхождения — то ли дочурка феминистки, то ли ее какая-то воспитанница. Эта была совсем трава и никому не докучала. Сам профессор преподавал в университете славянские

193

З А Й Ц Е В Д



языки, а в Москве, если я, отвлеченный его колониальным напитком, правильно понял, был позтом, что ли...

Но других знакомых у меня в Нью-Йорке, считай, не было. Вот и закинул профессору насчет работы.

В журнале у Марицы как раз убили фотолаборанта. То есть убили, конечно, не в журнале, а в метро, здесь важен лишь факт. Профессор очень обрадовался, что есть повод позвать хоть кого-нибудь в гости; я бы рискнул предположить, что его взаимопонимание с окружающими «майнорити» было неполным.

Робея, вышел я из лифта прямо в холл их огромной запущенной квартиры. Из мраморного вазона в углу торчал вялый кипарис, больше похожий на крупный можжевельник. Прихваченный скотчем, болтался плакат: «Геи мира хотят мира!»

Держась за руки, мимо, словно два ангела, проскользили на роликовых коньках длинноволосые подростки в майках по колено. В гостиной нам пришлось перешагнуть через бритое наголо дитя, спящее навзничь на голубом ковре: пестрые татуированные бабочки как бы порхали над крошечными желтыми куличиками груди. Огромные фотографии фрагментов ню обоих полов украшали белые стены.

Марица — крупная вялая тетка в оплетке честных жил и морщин своих пятидесяти, в черной безрукавке и белых мятых штанах, вложи-

ла в рукопожатие всю силу ненависти к мужскому беспределу, ползучим склерозом заливающим мир.

Б. сообщил, что жена любит Россию, и Марица с готовностью это продемонстрировала. Узнав, что я русский, она снова попыталась размозжить мне кисть (на этот раз одарив радостным оскалом) и проскрипела: «До свиданья!» Я было растерялся, однако выяснилось, что хозяйка, кроме слов прощания, знает по-русски еще лишь одно: «бумага».

— Капельку виски? — внес предложение профессор, и мне вдруг открылось: Б. отнюдь не разделяет американских идеалов абстиненции! Трезвость его, конечно, напускная. Наверняка паршивец не прочь иной раз достать из бара излюбленную квадратную посуду и приложиться к ней от души. Порой, возможно, какие-то предрассудки мешают ему на этом верном пути. Но гость, безусловно, развязывает руки и снимает мучительную проблему повода. Понимаю.

Очень красивый чернокожий юнец напугал меня, неслышно, по-кошачьи подойдя и усевшись ко мне на широкий подлокотник. Привалился к моему плечу и, щекоча лысину тенью будущей бородки, капризно мяукнул:

— Маа, убери Ёсико, ко мне с телевидения приедут, чего она там валяется...

— Ко мне с телевидения небось не приходят... — проворчал профессор, когда мы остались одни. — Куда там. Мне ведь ровным счетом нечего сказать моему народу. Не то что этим пидорам!

195

З А Й Ц Е В А



— Профессор! — Я не поверил своим ушам. Да и глазам, наблюдая, как махнул профессор второй стакан неразбавленного. Он все ниже сползал в кресле, поднимая колени. Дело дошло до того, что, промазав локтем мимо опоры, Б. выплеснул некоторую часть третьего стакана себе на брюки. Я начинал опасаться, что эта пьянь сорвет мне переговоры со своей жилистой мадьяркой о полюбившемся мне сразу месте фотолaborанта. — Когда вы успели набраться, старина? — По мере того как профессор на моих глазах скатывался в бездну делириума, я чувствовал себя все проще и вольнее. (Стоило, спрашивается в скобках, пересекать океан, когда эту любезную сердцу свободу без всякой статуи я мог вкусить, не выходя со двора, в любое время с любым слесарем?)

Тут профессор совсем съехал с кресла и раскорячился предо мной на коленях.

— Миша! — Его красивое потасканное лицо было мокрым насквозь. — Миша, вы и ваши друзья — единственные живые люди в этом проклятом городе. Я... мне ведь и поговорить не с кем. Жена борется. Психоаналитик — этот просто с большой дороги. Но надо же человеку исповедаться?! А? Как вы считаете? Последний бродяга, бомж с помойки может облегчить душу, валяясь в грязи с себе подобными. Почему же я, уважаемый, состоятельный человек, лишен такой простой человеческой утехи?

Согласен. Не за тем ли я сам приехал сюда? Однако, когда Б. сообщил, что намерен утешить-

ся немедленно, не сменив штанов, — я встревожился.

Исповедальный жанр смущает меня. Я никогда не читаю дневники и мемуары. В поездах дальнего следования до глубокой ночи курю в тамбуре, чтобы соседи по купе успели вывалить кишки без меня. Поэтому пьянствовать я предпочитаю в одиночку или с Батуриным, который тонко чувствует своим купеческим пятакон меру допустимого вскрытия душевных тайников. Некоторые любят выпивать на троих с кем попало. Не одобряю этой практики. Малоознакомый собутыльник (как понятный мне стимул к внутренней свободе) хорош в случае его неподдельной цельнокройности, когда нет полостей для душевных тайников. Такие экземпляры редки и драгоценны. Профессор к ним не относился. Его нашпигованная грехами и обидами душа рвалась к моим ушам, как моряк — к портовой подруге.

— Может, не надо? — пискнул я.

Но Б., все так же сидя на полу и оглядываясь на дверь, уже шептал, столь горячо и невнятно, что я не улавливал и половины. Б. каялся в грехах, из которых тайный алкоголизм был, пожалуй, невиннейшим.

Милашка посещал безумно дорогой притон, где отборную клиентуру обслуживали девочки от восьми до четырнадцати лет. Крал в супермаркетах. Пронюхал об источнике стартового капитала тестя, обувного магната: оказывая у себя на родине некоторые услуги коллаборационистскому режиму адмирала, старик, в то время молодой и



способный аферист, сколотил порядочную кубышку. А как запахло жареным, сбежал на Запад, пробрался в Америку и два года успешно спекулировал гнилыми кожами. Теперь ветеран страшно пекся о своем добром имени, и зять шантажировал его, как буратину.

Было и еще кое-что, обнадежил мокрый от слез и виски Б. Борджиа... Но тут ввалилась Марица, привычным движением штангиста вздернула мужа в кресло и вновь прислала мне привет от Веселого Роджера. Еще некоторое время мы с усердием напрягали лицевые мускулы в отношении друг друга, но, поскольку мой распутный соотечественник, уронив голову на грудь, тяжело храпел, мне ничего не оставалось, как мысленно проститься с симпатичным жалованьем фотолаборанта и откланяться...

Через пару дней, однако, пунктуальный Б. уведомил, что Марица готова представить меня хозяину.

Назавтра я был принят на работу, — и стоит ли говорить, сколь бесспорным был этот повод для нашего соседа... Да и не страстно ли мечтой обмыть мое трудоустройство вдохновлялись его посреднические усилия? — цинично размышлял я.

Гришка соорудила ностальгический стол: пельмени, огурчики, астраханская (именно!) сельдь, картошка. Водка, разумеется. Никакой вот этой местной дряни.

Профессор едва не прослезился, однако вискаря своего всучил.

— Эх, земля, — обнял его за шею неосторожный купец Батурин (тоже не абстинент). — А помнишь ты, черт нерусский, как дома-то пили?

— Это я нерусский? — обиделся земля. — Да я, к вашему сведению, Рюрикович! — Но живейше все же заинтересовался: — А как? К а к? Вот как, к примеру, вы, ребята, пили? С кем? Где? Что? И сколько?

Словно юного любовника, профессора возбуждало не только обладание предметом, но и перекуды о нем. Мы легко утолили его любознательность. Наш с Батуриным опыт, хотя и длительный, разнообразием не отличался.

— Но вот один наш кореш... — Батурин поматал взмокшим чубом. — О, это был большой художник. Репин. Тулуз-Лотрек. Вера Мухина! Мог мешать пиво, коньяк и портвейн с твоим вот этим поганым пойлом, а наутро шел на работу — бледный, и только. Такой был доктор, земля, не поверишь. У последнего хроника, бухаря подзаборного отобьет охоту.

— Даже вас бы, старина, вытащил, — вставил я.

— Пикнуть бы не успел, земля, — согласился Батурин.

Не сказать, чтобы профессор Б. одобрял обращение Батурина. Он все крутил головой, демонстративно поправляя галстук, как бы напоминал, что он — уважаемый, состоятельный человек и закусывает с нами только из любви к родине.

— Не вполне понимаю, — заметил он раздраженно. — Этот ваш коллега, он что же, сам алкоголик или лечит алкоголиков?



— Да в том-то и штука! — закричали мы с Батуриным наперебой. — Он именно что сам алкаш! И в то же самое время лечит! Тем самым — с доскональным знанием дела! Врубаешься?

— Лечит! — скривилась жесткая Гришка. — Небось уж всю рыбу вылечил своей проспиртованной тробухой в Дунае или в Рейне каком-нибудь.

— Не исключено! — радостно подхватил Батурин. — Или даже в Сене!

— Ах, сено, сено... Этот запах... — затуманился профессор. — Вы знаете, друзья мои, что я больше всего люблю в этом городе? Центральный парк. Там всегда пахнет скошенной травой. Раньше я бегал там по вечерам, рысцой. Бежишь, небо выцветает, и этот запах... И кажется, друзья, что ты дома, в Пахре. Там тоже — как спустишься в сумерки к реке, такой дух от сена...

— Се-на! Не Пахра, говорят тебе, а Сена. Тоже река такая, земля. Или хоть в Женевском озере. Нажрался — и буль-буль по пьяни.

— Я всегда говорила, что он плохо кончит! — кричала Гришка.

— Это Россия! — кричал Рюрикович-профессор. — Друзья мои! Поверьте, я повидал жизнь! Только мы, русские, способны на такую тоску по родине!

— Эх, земля! Дай я тебя поцелую!

— Ну а как, как он пил, этот ваш коллега? Ну, фор экзампл?

— Ну, фор экзампл, придет, бывало, на прием и встретит там свою чувиху неожиданно с дру-

гим. И кличет официанта: Кузька, шампанского! Тот несет поднос с шампанским, он хлоп-хлоп-хлоп, весь поднос, двадцать бокалов, один за одним — и к чувихе. И ее чувака, фор экзампл, за шкирку — и в окошко. А следом — чувишку. Вот так и пил.

— Это удивительно! — смеялся профессор. — А как его звали?

— Да Хлесталов. Так и звали: доктор Хлесталов.

— Хм! — Б., прищурясь, рассматривал стакан с виски на свет. — Знал я одного Хлесталова. Только тот был писатель. В кавычках. Жалкий субъект. Типичный неудачник.

Мы с Батуриным переглянулись.

— Была у него одна скандальная вещичка, наделала шуму... Но случайная слава — она уходит в песок, не правда ли, друзья мои? Его забыли. Когда он это понял, буквально полез из кожи, чтобы о себе напомнить. Прием там, презентация, банкет, — стоило ему появиться — тут же дебош. Хотя сам-то я имел счастье им любоваться, слава богу, только раз или два... Однако ходили легенды...

— Надо же, какое совпадение! — удивляется купец Батурин. — Довольно редкая фамилия, и — надо же, оба такие задорные люди! Я буквально заинтригован: что, земля, что этот человек? Так по халявам и практикует?

Я делаю другу знаки, но купец понимать меня не хочет, прямо-таки выпихивает нашего святого отшельника на тропу исповеди.

201

З Д Й Ц Е В А



— Я крайне страдаю от дефицита общения, друзья мои, — охотно заводит свою песню Рюрикович, и славная Гришка похлопывает его по рукаву и говорит «ну-ну-ну». — Такая тоска, ребята... А как я жил! Я жил, друзья мои, фе-е-ри-чески! — Сосед горько улыбнулся и сделал крупный глоток. — Всего лишь пять лет назад... Вы знаете, друзья, что такое культуратташе в...? — Б. Назвал маленькую европейскую страну (хорошо, очень хорошо, просто замечательно развитую), полную хороших кондитерских и первоклассных горнолыжных курортов. — Это, дорогие мои, песня жаворонка в летнем поле. К тому же накануне отъезда я женился... Нет, к счастью, не на Марице. На прелестной сироте из старого партийного клана. Студентка филфака, на пятнадцать лет моложе меня. Друзья мои, море любви омывало наш старинный особнячок на улице Роз. Я пишу стихи, жена ездит по магазинам, катаемся на лыжах. Званы в лучшие дома столицы, вот так. Машенька... да. Маша счастлива. Мне родина снится, в слезах обнимаю любимую... Открою глаза: я в раю, о чужбина моя! — это не вошло в сборник. Да, я жил в раю. Маша, Маша... Был прелестный праздник по случаю победы в региональной регате. Обед в старом замке, у бабушки капитана команды, баронессы. Персонал в ливреях. С хозяйкой, семидесятилетней красавицей, мы знакомы довольно коротко, играем в теннис. Одна походка...

Профессор разошелся, пробует изобразить походку баронессы. Очень похоже, как скачет дель-

фин на хвосте по водной арене дельфинария. Внезапно его перекосило от ярости.

— А эта моя вобла, — он ткнул бутылкой в потолок, — как матрос в качку! Эстетический аспект секса унижает, мать ее!..

— Ты прав, глубоко прав, земля, — одобрил Батурин. — Я тоже требую: Гришка, не топай, лехше, лехше ход ноги...

Некоторое время сосед молча пил и подливал себе, вздыхая. Я видел, что воспоминания даются ему нелегко.

— Да... — очнулся наконец Б. — В общем, баронесса просит минуту внимания... «Среди нас — гость из России, известный русский писатель...» Нет, думаю, этого не может быть... Только не это! Белый смокинг, землистое лицо, рот кривой, глаза совершенно безумные. Собственной персоной. И так мне отчего-то тошно, друзья мои, такие охватывают мерзкие предчувствия... А рядом вскочила и пялится на него голодными глазами длинноногая пигалица, яхтсменка-советолог, умирает от гордости: такое диво приволокла. Кошмарный какой-то сон. Здесь, в раю, где баронессы и регаты, в этом доме с привидениями — и кто? С какой стати?..

Профессор Б. замолчал, в изумлении глядя на пустую бутылку.

— Э, земля. — Батурин слегка потряс его за плечо. — Расслабляйся, земля, не горюй. Нам тоже не снилось с тобой корешиться.

А я спросил, отчего-то волнуясь:

— Ну так кто, кто же?

203

З А Й Ц Е В А



— Я разве не сказал? Хлесталов, конечно. Нет ахиною про дружеское участие, которое приняла в нем, «русском изгнаннике», маленькая, но прекрасная страна... А потом указывает на меня и объявляет (а пигалица переводит), что рад видеть здесь своего соотечественника (спасибо, не земелю) Б. И дальше: «Я также рад случаю сообщить уважаемой компании, что господин, а вернее, товарищ Б., которому оказано в вашей чудесной демократической стране всевозможное почтение, долгие годы являлся внештатным агентом советского КГБ, или, как говорят у нас, стукачом». Переводчица замялась, но быстро обошлась крайне неприятным словом «провокактор». И прямо повизгивала от упоения. Потом я узнал, что она пишет диссертацию «Кей Джи Би: формы и методы». Гробовая тишина за столом. И в этой тишине я кричу, опомнившись: «Ложь!» И тут же моя бедная Маша вдруг повалилась грудью на стол, как-то дико задергалась и побагровела. Это была такая жуть... Страх моментально заслонил всех хлесталовых. Я, помнится, истерически кричал: сделайте что-нибудь! И тряс ее, и почему-то страшно, грязно ругался по-русски. На тарелочке перед женой лежала черешня. Крупная, с райское яблочко, лаковая. Кто-то, поняв наконец в чем дело, резко стукнул Машу под грудью. Из рта у нее вылетела здоровая ягода, Маша вздохнула и подняла ко мне мокрое лицо: «Он правду говорит?» Но Хлесталова за столом уже не было. Ду-маю, турнули подлеца.

Сосед замолчал, обвел застолье надменным взглядом и опрокинул который уже стаканчик. Я заметил, что он опасно съезжает со стула. Однако поднатужился земля — и досказал свою историю.

Вкратце она имела такое завершение.

Он прослужил еще полгода, несмотря на улюлюканье прессы, типа: «Русский писатель обвиняет русского чиновника в связях с КГБ!» И все бы ничего, да Маша после приключения в замке совсем одичала и вскоре завела любовника, французского певца, наркомана. Б. вынужден был развестись. Его имя второй раз запрыгало по газетам... Тут уж великая держава не стерпела. Из рая Б. отозвали. Но от родного бездорожья и братания он поотвык. Познакомившись в горах с американской туристкой венгерского происхождения, не стал тянуть роман, моментально женился и уехал с ней сюда, на остров Манхэттен. Где, собственно, и пристрастился к своему другу с квадратным дном и запахом перепревшей соломы.

О Хлесталове известий больше не имел. Вот только недавно знакомая журналистка с радио «Свобода» (которая — не свобода, а журналистка — отчасти скрашивает невеселую американскую житуху) насплетничала ему, что Хлесталов залетел вроде в Чечню, после чего много кричал, в том числе и по «Свободе», и окончательно свихнулся. Теперь он находится вроде бы в том самом учреждении, возжегшем его на первый литератур-

205

З Д И Ц Е В Д



ный опыт. И никого, по словам Марго, видеть не хочет.

Завершал зуммер. На всю комнату, так, что даже русский купец Батурин разобрал, Марица прокаркала, что прибыли папаша, престарелый хортист мистер Сильви, и желают иметь встречу с зятем.

П О В Е С Т И



Эта идиотская история случилась в деревне Приветы Ильича через год после того, как наши козлы-людоеды обосрались с Чехословакией.

Как раз Витек, морда оккупационная, сосед мой по даче, вернулся из армии. Ну как, говорю, освободитель, живьем братишек давил или уж так, после «калашникова» дохрумкивал? Обиделся, сунул по челюсти и ушел в свой курятник, чуть калитку с петель не сорвал, не стал ждать, пока я зубы соберу. Ну а вечером заруливает к нам на поляну, с бутылкой, в джинсах чешских, безрукавка — карман на кармане: на плечах, под мышкой — штук сорок... А наши пацаны: треники с пузырями на коленях да «техасы» из «Рабочей одежды». Ну, подвинулись, налили. Губу у меня раздуло, но я ничего, лыблюсь в харю его сволочную и опять — ну ничего поделать не могу, так из меня и прет: чего, мол, кореш, за Пражскую весну, за мир-дружбу? «Мало тебе, Михуил? Не жадный, могу добавить». И скалит свою клавиатуру, а зенки на копченой

207

З А Й Ц Е В Д



морде белесые, в белых ресницах, как у теленка, радостно вылупил — но не на меня. А на Машку Турманову, принцессу нашу, генеральскую дочку — та еще сука, что она, что папашка ее.

Мария Гавриловна, надо сказать, была у нас редким гостем. Она и к бабушке-то в усадьбу навещалась за лето раз пять-шесть. Зато зимой торчала тут по неделям. Я тоже зиму в Приветах любил: тихо, снег скрипит, идешь на лыжах, в лесу ни души, на деревьях — словно вязаные салфетки, как у тетюшки моей по всей комнате. Натопишь в доме, картошки нажаришь, чаю заваришь прямо в кружке и антоновки туда — тоню-усенько... И сиди, кури, пиши себе, читай...

В один январь, образцово лютый, когда тонкий яблоневый сучок тронешь — обломится со звоном, как стеклянный, — хатенку мою заметало ночами до окна. А меня по плечи замело письмами. Пушкина. Время не двигалось. День и ночь болтался я, как елочный шарик, в сплошном густом кайфе. Завалишься после леса на вытертый продавленный диван, один валик — под голову, другой — под ноги в сухих шерстяных носках, пальцы ломит, покалывает, отпускает с мороза; Ганя, Ганнибал, котyra мой феноменальный, всей тушей — на грудь, башкой под челюсть, тарахтит от наслаждения, как буксирный катер. И Пушкин этот, стервец, пишет мне, как из армии, пишет беспрерывно, по пачке в день, как же им жилось в кайф без телефона, как мне в тот январь.

Сессию не сдавал, взял академку. Приезжала Наташка, катались на санках, а потом целовались

под одеялом до полного размягчения мозгов, обнимались, как борцы, ребра трещали. Но дать, дуреха, так и не дала. Боялась. Ну а если б и дала — чего бы я с ней делал? Ей восемнадцать, а мне и не исполнилось. Правильная, ясная была зима. Неугасимая. С метелями и великолепными коврами.

На санках катались...

И эта б...ща Маша. Что она там делала за своим тесовым забором — пес ее знает. Но визг стоял по ночам такой, что Ганя мой краснел. Раз иду, калитка нараспашку, по участку носится голяком Машка Турманова, босая, по снегу, а за ней — чувак двухметровый. И только по его хозяйству с хорошее полено видать, что тоже — в чем мать родила: зарос детина черным волосом от носа до щиколоток. Эта обезьяна гогочет, и Марья Гавриловна, ундина, заливаается, розовая вся, распаренная, как из бани. Да как раз, пожалуй что, именно из бани.

Короче, Витек Машку отметил, и сигнал его был, понятное дело, принят. И стал он на генеральскую дачку похаживать. И Гаврилка, Гаврила Артемидыч, хозяин, военная косточка, как он себя называл, штабной барбос с брюхом через ремень, в галифе на подтяжках и старых черных штиблетах без шнурков, — не прошло и недели: бросает огород, солдатиков персональных, что по наряду тянули ему канализацию к новой трехэтажной хибаре, — и, обтирая о грязное хэбэ землю с рук, идет к калитке и еще издали курлычет: здорово, солдат, привет Победителю!

209

З А Й Ц Е В А



По первому разу как тот сунулся, Гаврилка на него, конечно, по своему обычаю, шланг наставил: чего надо? Кто звал? Но Витек предъясняет домкрат и деревянный ящик с инструментом: прощенья просим, товарищ генерал, Марья Гавриловна сказала задний мост глянуть! И так каждый день. Телевизор подстроит, насос подтянет, а потом за чаем и наливкой всесторонне обсуждает с генералом нашу миролюбивую внешнюю политику и своевременные вспомогательные действия в Восточной Европе.

К августу Гаврила Артемидыч смотрел на Витька как на решенного зятя, о чем объявлял без стеснения даже и при гостях — таких же старых отставных барбосах и полканах под стать себе. «А это вот наш Виктор, стало быть, Победитель!» — и поднимал два кургузых пальца. А полканы громко хохотали, и красная от водки и солнца генеральша Курова непременно норовила крепко припечатать Марью Гавриловну по заду и пошутить басом: «Кого ж он победил, такой зубастый, а, Мусечка?» И узко переплетенные стекла веранды дребезжали от артиллерийского смеха.

В конце лета Витек устроился на работу в райком комсомола. Инструктором по строительству. То есть сперва он вернулся было в свое СМУ, откуда его призывали и где он успел за месяц после распределения заколотить на прорабской должности пятьсот рублей. Будущий тесть как практический тактик одобрял такую товарищность, но Маша стратегически вспомнила хорошего знако-

мого из Промстроя, его прочные возможности на уровне прокуратуры — и доступными ей способами убедила Победителя начать с малого креслица во имя большой карьеры. Через полгода толкового инструктора забрал строительный отдел ЦК ВЛКСМ.

И пошли-поехали с музыкой и рапортами голубые города без роду без племени, всякие Небрежные Челноки да Комсомольские Осколки, Целино-грязь, да Байкальск, Енисейск, Амурск, Ангорск, Печоринск, Онегинск и БАРАБАМ этот адский.

Бессмысленное и беспощадное продувное новье, заселенное авантюристами, алкоголиками, матерями-одиночками, ворами и безмозглыми энтузиастами. И с этими мутантами Витек, хрустя битым стеклом, шагал от объекта к объекту в направлении светлого будущего, пробиваясь сквозь метель ведомостей и смет, и принятые корпуса сбрасывали напряжение за его спиной, давали вольную осадку, шли трещинами и осыпались в пыль.

А в жизни Маши Турмановой, внешне по-прежнему бесформенной (жизни, а отнюдь не Маши) и угорелой, хотя и сориентированной довольно вялым вектором на ожидание законного брака, — случилась одна встреча, указавшая Марье Гавриловне не слишком тернистый путь к духовному обновлению.

Наши Приветы кончались рощей. За рощей протекала пересыхающая речка Жабря, и на том берегу стояла деревня Жабрино. В этой деревень-

211

З А Й Ц Е В А



ке на тридцать дворов чудом уцелела и стараниями местного батюшки была возвращена приходу церковь.

Батюшка, отец Дионисий, год как из семинарии, молод был, энергичен и абсолютно нестигаем. Жил со спокойной верой в свое предназначение и с женой, тоже Верой, лет на семь постарше мужа, кротости почти юродивой, матерью пятерых детей: шестнадцатилетнего травника, богатыря и рукодела — от первого брака, междубрачного девятилетнего математического гения и трех девочек от Дионисия: пять, три и полтора. Я-то знал Дионисия еще студентом архитектурного института. Он дружил с моим братом и славился исключительной лютостью до баб. В любую красивую девку в метро или на поверхности можно было ткнуть почти безошибочно, а в коридорах пряничного МАРХИ просто наверняка — как на окученных неутомимым Денисом.

На четвертом курсе на практике в Загорске он встретил Веру Петровну Воропаеву, бывшего своего преподавателя, блестящего ученого: написанную в двадцать четыре года кандидатскую по теории фресковой живописи засчитали как докторскую.

Требовались кое-какие незначительные формальности в ВАКе. И на этом этапе Вера Петровна пропала. И обнаружилась спустя пару лет в загорских мастерских, где обучала семинаристов стеной росписи. Ее детский взгляд всегда снизу; редкая улыбка, словно дорогой подарок; голос, густой и теплый, точно общее неуловимое марево звуков

над летним лугом; стройные, простые, отшлифованные слова, произносимые в этих координатах, сначала привели Дениса в восторг, который он ошибочно принял за привычную реакцию. Но вскоре с изумлением обнаружил, что восторг распространяется как-то исключительно на душевную сферу, оставляя половую (и вообще материальную) в полном покое. Потребность слушать и видеть Веру постоянно завладела Денисом вроде безумия. Они поженились. Снимали комнату в Загорске, Денис учился реставрационному делу. Родилась первая дочка. И Денис понял: служение Vere, детям и искусству есть выражение до сих пор не распознанной им главной цели. Вера со своим взглядом и голосом и, главное, со своим сигнальным именем явилась ему, конечно, прямым указанием.

И вот усатого, порядком уже к его двадцати двум поношенного дядьку, словно Ломоносова среди отроков, Дениса с огромной неохотой приняли в Загорскую семинарию. Через четыре года среди трех соискателей он ожидал направления на место опочившего батюшки в благополучный приход недалеко от Серпухова.

В ночь перед рукоположением ни с того ни с сего ему вдруг приснилась жабринская церковь. Когда-то мы с братом водили его туда, показывали, как гниет «Покров на картошке». В ту осень он как бы даже малость тронулся на этом полуразваленном, со сбитым куполом, ободранном и загаженном изнутри близнеце нерльского шедевра. Часть курсовой по храмовой православной архи-



текстуре XII—XIII веков, главу «Храмы крестово-купольного типа» он писал, не вылезая из жабринского овощехранилища. И, уступив серпуховского Николу, принялся отец Дионисий писать прошения. Ильичевский район принадлежал к Загорской епархии. Набив портфель письмами епископата и районного начальства (с мозгами, в силу, вероятно, близости святых мест, не совсем обескровленными битвами за урожайность надоев в расчете на бессмертную душу вымирающего населения при коэффициенте ноль целых четыре сотых процента родительного падежа крупного рогатого колорадского жука с учетом умеренно-северных надбавок за его вредность как отказывающегося размножаться в зоне и климате не-сжатой полосы), — отец Дионисий пошел обивать пороги: советские, синодальные, партийные. Он дал обет не есть белковой пищи, не брить бороды, не стричься и не касаться плоти жены своей.

Испепеленного постом, заросшего буйной черной кудрей попа заприметили во всех кабинетах патриархии и облисполкома. Его боялись, как натурального огня: опасались за бумажное имущество, деревянную обшивку и легкий сборчатый шелк на арочных окнах. По тому раскладу не так уж ему долго оставалось до ловкого укола в предплечье и с воем и ветерком бешеной прогулки чрез клубок улиц на шоссе с нейтральным названием, где, вялого и спеленутого, ну чисто дите неразумное, отца Дионисия, так и не получившего прихода, швырнули бы на жесткий верстак, застеленный драной простышкой в ржавых пятнах, — и

корячься, бабушка, под галоперидолом, покудова все свои дурацкие мозги не выблюешь.

Но встретился ему на счастье (или на вечное мытарство, не нашего ума это дело) в сумраке коридоров один матерый архимандрит в чине полковника, лицо близкое к патриарху. И пожалел фанатичного Дионисия. Или по многопрофильной многоопытности своей понимал, что тем лютее апостольский фанатизм, чем тупее и равнодушнее институты синедриона, чем развращенней народ, чем глуше надежда. И архимандрит этот несильно и даже вкрадчиво нажал на известные ему рычаги в своих ведомствах. И жабринскую церковь, как это говорится, вернули верующим — как будто можно ее у них отнять: ну если так-то, в трансцендентальном смысле.

Вместе с Василием, старшим сыном Веры, и еще тремя-четырьмя ухватистыми мужиками из прихожан храм крестово-купольного типа они из тлена и смрада маленько подняли. И потихоньку потом все подлаживали, да подстругивали, да подбеливали, да подколачивали — день за днем, месяц за месяцем...

Короче, пока Витек пил в обкомовской гостинице, пытаясь забыть девку, сбежавшую из профессорской семьи на строительство камского гиганта, старшекласницу, изуродованную передовой бригадой маляров коммунистического труда, онемевшую от боли, когда ее сунули руками в известь и держали так, потому что медленно работала, и бригаду из-за нее лишили премии и переходящего из рук в руки, как крановщица Кларка,

215

З А Й Ц Е В А



вымпела... Пока Витек таким образом курировал молодежные стройки, Марья Гавриловна ходила купаться на речку Жабрю и с интересом наблюдала, как несколько полуголых амбалов и с ними доходяга с запавшим подреберьем, а лицом неистовым и обжигающим, как у Леши Златашова в чумовом одном соло (да уж, случилось, слышали), — как они, словно муравьи, изо дня в день — а май стоял небывало знойный — стучали и пилили и, сидя верхом на золотых стропилах, словно бы ласкали, оглаживали их невидимым рубанком. Даже к ней на пяточок укромного пляжа доносился острый скипидарный запах дерева и пота, тихие голоса почти совсем без мата и жирные шлепки раствора.

А следующий раз Маша приехала на дачу только в июле. В июне Витька должны были послать руководителем делегации ударников БАРАБАМа в Чехословакию, но тут, видно, от вечной командировочной сухомятки сорвался луженый комсомольский желудок, и чуть не помер Витя в три дня от кровавого поноса. И моча оказалась мутнее, чем хотелось бы медкомиссии райкома. И вместо Праги пришлось отправиться в Дорохово и глотать там кишку, а потом пить водичку в Трускавце.

Маша сняла комнатку рядом с санаторием.

Общий черепичный колорит мало чем отличался от знакомых предместий, в одном из которых часов в пять, на рассвете, вышла на булыжную ратушную площадь молчаливая толпа — тысяча молодых и старых баб, и мужиков, и детишек со встрепанной со сна соломой волос — и безмолвно

стояла, пока последний танк не прополз в сторону Стрижкова. И лица их были одинаковые, пустые и тяжелые, как булыжники под ногами. Ровные булыжные мостовые западных деревень, не с лязгом, а с тихим сдержанным хрустом зубного корня ложившиеся под гусеницы.

Но Маша ничего этого не знала и с хохотом носилась по скользким от хвои карпатским отрогам, скаля синие, в чернике, зубы. И, катаясь в обнимку, давя, словно медвежата, черничники, выедавая ягоду из губ любимой, отмякший во мху Витек позвал Машу замуж. И Марья Гавриловна промычала сквозь удушье поцелуя: «Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!»

И, оставив любимого долечивать изъязвленную тайной отравой душу, Маша поспешила домой готовиться к свадьбе и государственным экзаменам на факультете журналистики по специальности «теория и практика партийной и советской печати». Лето стояло адское, горели торфяники, и обмена веществ хватало только на то, чтобы днем спать под яблоней, а к вечеру, как в ванне, полежать в обмелевшей и почти горячей Жабре, выбрав ямку поглубже.

Отсюда Маша видела, как почерневшие за месяц мужики крыли каркас купола листьями кровельной жести, польхавшей расплавленным серебром на закатном солнце. Но солнце гасло, и тусклая полусфера принималась заглатывать остывающие сумерки разинутой рваной пастью. На прутьях каркаса повадилась дремать до утра петух — чистая караульная птица. Сигнальная система, настроен-



ная на поддержание кислотно-щелочного баланса в этой незавершенной полости будущего вызревания благодати.

К жабринской церкви жался погост. Маленькое деревенское кладбище с осевшими могилами. Оно не расплзлось вширь, как гигантские плоские, слепые, криминальные новые некрополи в Москве, а словно бы робко съеживалось. Деревянные кресты гнили, холмики под плитами осыпались — хоронили здесь друг дружку только жабринские старики, которых осталось как раз на две бригады для соцсоревнования «Кто кого переживет».

Млела-млела Маша в вечерней испарине, да и вспомнила как-то так, практически беспричинно, что именно здесь, как ни странно, лежит ее матушка. Генеральша Турманова. Смутно помнилось, что была генеральша тихая — тишайшая. Пахло от нее при жизни сандаловым веером. Умерла рано, Маше не исполнилось и десяти.

Мама выходила исключительно лишь на крыльцо: какой-то послеродовой психоз — страх открытого пространства. В последний год только могла делать несколько шагов по участку вблизи дома. Тут была ее крепость, ее мир и ее могила. Никто, кажется, и не возражал. Раз в неделю генерал привозил ей продукты и платил бабе Насте из Жабрина за общий «обиход».

Баба Настя, крепкая восьмидесятидвулетняя старуха, ухаживала, кстати, и за могилкой. Маша этого не знала и интереса к данному вопросу не проявляла.

Гаврила Артемидыч бывал на кладбище обыкновенно под Пасху, но не в самое Вербное воскресенье, чтоб не оказаться ошибочно замеченным в культовых отправлениях. Марья же Гавриловна так и не удосужилась за десять сознательных дачных лет заглянуть на погост.

«Что же я за крокодил такой? — справедливо подумалось невесте, чьи разомлевшие ступни лизало едва уловимое течение умирающей воды. — Мать ведь, лично же родила и даже, говорят, свихнулась на этой почве. Как ни крути, тварь я неблагодарная. И ведь рукой подать. Никуда, елки, ехать не надо...»

Долго еще Марья Гавриловна размышляла в этом направлении, пока гребень дальнего ельника не почернел на фоне вылинявшего неба. Тогда, набросив сарафан, она перешла вброд речушку и, свернув на крутую тропку, поднялась к церкви. Храм Рождества Богородицы смутно белел свежей известкой, от стены сочился запах стройки. Маша перешагнула поваленную клепаную ограду и ступила в бурьян кладбища.

Она не знала, где могила, и брела в тумане и бледном свете молодого месяца наугад. И тут среди расплывчатых теней словно бы из того же тумана перед ней сгустилась едва различимая фигура. Марья Гавриловна вздрогнула, дернулась убежать, — но вот она спотыкается и, успев только скверно ругнуться, мордой летит в крапиву.

Подвывающую от жгучей боли, ее выволакивают и сажают на скамеечку, чьи-то легкие руки обкладывают распухшее и залитое слезами лицо



большими мягкими листьями — видимо, лопухами, гладят по голове и плечам. Маша никак не может навести на резкость зареванный взгляд, перед ней маячит смазанное, не в фокусе, пятно лица, со стороны которого прямо, кажется, в душу течет густой медовый голос, словно общее теплое марево звуков над летним лугом: «Ничего, доченька, ничего страшного, до свадьбы заживет, ну обстрекалась малость, даже и полезно...» Совсем близко Маша видит черные глаза, входит по колено, по грудь в их вечернюю воду, ныряет и качается там, на податливой чистой глубине. «Вы кто?» — спрашивает, выныривая и прерывисто всхлипнув. «Матушка я, не бойся», — отвечает голос.

И с громким, младенческим ревом, трясясь и выталкивая со слезами пробки скопившейся в канализационной системе ее организма дряни, — Маша повалилась головой в колени сухощавого призрака и задохнулась в забытой утробной тьме.

Вы можете спросить, откуда я все это знаю. Очень просто. Уже давно я стал при отце Дионисии чем-то вроде агента по снабжению. У начальника местного леспромхоза, исправно пьющего и потому лучшего друга всех ильичевских дачников, по исконной схеме выменивал списанную вагонку: десять кубометров — ящик прозрачного золота. Строительные связи брата и кое-какой опыт в области погрузочно-разгрузочных работ, которым обладали мы с коллегой Батуриным, плодоносили практически дармовой кровлей, цементом, кирпичом. Вы можете спросить также, зачем искал я на свою жопу этих приключений. Дело в том, что я

любил отца Дионисия и матушку Веру, поскольку единственные на всем Северном радиусе эти два персонажа кое-что смыслили в цвете, форме и фактуре окружающей среды. Даже то, что они настырно искали и находили в каждой рябиновой кисти промысел Божий, не особенно мешало нам балдеть на досуге в поисках утраченного секрета новгородской киновари при восстановлении фресок Спаса-Нередицы. Я, конечно, не посвящал их в детали своих сделок и позволял доверчивому отцу Дионисию считать ворованную вагонку тоже промыслом Божиим. (Подозреваю, что свиная проницательность матушки реальнее отражала природные взаимосвязи; Вера, впрочем, вопросов не задавала — никогда и никому. Не знаю, я далек от религии, хотя довольно живо откликаюсь на буддийский оптимизм в части реинкарнации, — но по-человечески догадываюсь, что аскеза Веры Воропаевой мучительней каждодневного труда молитвы.)

Вообще-то мне ничего не стоило бы наврать, что по ночам дух мой сливался с торчащим внутри зияющего купола петухом. Такой я человек. Тем более что отчасти это правда. Но поучительную сцену из какого-нибудь готического шедевра типа «Поворота винта» я наблюдал, выйдя пока что просто покурить (и, признаться, отлить, хоть, наверное, это и грешно у паперти, но, с другой стороны, храм ведь недостроен и, таким образом, его участок не является еще вполне святым местом. Так я думаю, а спрашивать, пожалуй, ни у кого не буду, беря пример с милосердной матушки).

221

З Д Й Ц Е В Д



Я стоял на крылечке тесного флигеля, где оставался иногда ночевать у Дениса с Верой, если работа затягивалась допоздна. Вера начала внутреннюю роспись, и я охотно пошел к ней в подмастерья. Кроме того, пытался под руководством матушки вместе с батюшкой писать иконы: он — лики, а я, нехристь, и богомаз потому бесправный — фоны и драпировки. Однако не успел я начать первую подмалевку — что-то странное случилось с моей правой рукой: палец распух, как от панариция, и, словно перебитое, обвисло горящее огнем запястье. Вася натер мне кисть какой-то своей мазью — и я поправился. Но к иконам меня Дионисий более не подпускал.

Итак, я стоял на крылечке у самого истока духовного обновления этой прошмандовки Марьи Гавриловны. И был, не скрою, взволнован. В какой-то момент даже озноб пробрал меня, чего не одобрил бы коллега и циник Батурин; не оценишь, возможно, и ты, пресыщенный читатель. Но я-то, я-то — я ведь еще так юн, я допризывник и вундеркинд и в онтологическом смысле — девственник. Хотя мы с Наташкой и умудрились забеременеть, — но взломали мою сладкую оперативно, только в ходе аборта.

Короче, что ни день — стала Маша появляться в тесном флигеле за церковью. Целыми часами ковырялась на могилке, обсаживала маргаритками, фиалками и прочими многолетниками, выкопала в лесу прутик клена и воткнула у изголовья. Требовала у бабы Насти все новых и новых сведений о матери, просила Веру молиться за нее.

«А ты бы и сама помолилась, доченька», — внесла раз матушка кроткое предложение. «А разве можно?» — удивилась Маша. И матушка научила ее кое-каким засасывающим, усыпляющим словам, и Маша шептала их на солнышке с непокрытой головой и часто так и засыпала среди своих маргариток — в слезах, лицом в ладони.

А между тем со дня на день должен был приехать очищенный родниковыми аперитивами наш бравый Швейк. Марья Гавриловна прошла как раз через таинство крещения и, укрепленная безбрежной духовностью своей крестной, уговорила с отцом Дионисием о венчании.

— Твердо решила? — спрашиваю по дороге домой. Мы перетащили велик через чуть сочащееся русло Жабри и теперь катим его по твердой, будто камень, извилистой лесной дорожке, держа по обе стороны за рога. Мы почти подружились тем неофитским летом.

— Ты не понимаешь, — отмахивается Маша. — Чего тут решать? Не понимаешь ты ни фиги.

— Ну а, допустим, Витек не захочет? Перебздит, допустим, комсомольский наш вожачок?

Улыбается. Прямо-таки лучится.

— Ты его не знаешь... Да он сдохнет за меня. Он меня, знаешь, как? Как этот...

— Тила Вертер? — уточняю.

На том и порешили.

И он приехал. Победитель. Гип-гип ура. И в воздух лифчики бросали. Продристался, стало быть.

Ну, отгуляли, как полагается — с будущим тестем, с генеральшей Куровой, с артиллерийским



дребезжанием стекол и нетрезвыми возгласами «горько!» — а наутро выхожу, зевая, на крыльцо, содрогаюсь от холодной клубящейся сырости и не сразу замечаю, как жметса под яблоней на лавочке эта Христова невеста, зачехленная в папашину плащ-палатку. С кислой серой мордой, с отвращением жует мое яблоко: мокрый паданец со ржавым боком. Подобрала и завтракает.

— Приятного аппетита, — зеваю. Маша бросает в траву огрызок и входит, задев меня мокрым брезентом, на веранду. — Мэри, похоже, не едет в небеса? Дуся моя, какое у тебя с утра личико-то малопривлекательное!

Но Маша не улыбается. Она смотрит мне прямо в глаза этим своим новым требовательным взглядом, этим ужасным, невыносимым взглядом требовательного нищего — откуда у них, у новообращенных этих, берется такое выражение, совершенно непристойное в нашей скудной обыденности? — и объявляет: «Он орал на меня полночи».

Далее она плюхается на диван, прямо в этом своем мокром камуфляже на мои простыни, и бессвязно выкликает: «Ты, говорит, ненормальная дура! Это для меня идиотская забава, а для него — конец, крышка, его попрут отовсюду, и мне насрать на его жизнь и вообще биографию! И ради твоего идиотского понта я, говорит, не намерен! И если ты думаешь, я буду потакать твоей бабьей дури, то забудь об этом! Он так на меня орал, как будто — я не знаю, как будто засек меня на каком-то, ну прямо не знаю, запредельном б...стве!» Сравнила.

Короче, я был прав, как всегда. Но не ожидал вот чего. И никто не ожидал, что история христианки Маши и комсомольского строителя светлого будущего получит такое парадоксальное развитие, поскачет так нелепо и бессвязно, как бывает только во сне, когда ты бежишь, а ноги увязают, словно в песке или же в бесконечном, безбрежном, все прибывающем снегу.

Теперь Витек. Совершенно вне себя от диких бредней своей временно бесконтрольной невесты, этот удачливый сотрудник идеологического ведомства, только что успешно завершивший лечение невротической язвы, но пока еще сохранивший легкий функциональный каприз кишечника, а именно, ему приходилось немедленно рулить в сортир при слове «Прага», даже если подразумевался ресторан на Арбате, — наш Витек в сердцах грохнул последовательно утепленной дверью комнаты, потом — террасы, так что ахнуло, выскочило и вдребезги разбилось одно из маленьких стеклышек, потом — тесовой калиткой и зашагал, невзирая на дождь, к станции. Маша увидела этот марш из моего окна, схватила мой же велосипед и, как была, путаясь в полах своего милитаристского брезента, рванула в погоню. Поравнявшись с ним и медленно катя рядом, но не останавливаясь, Марья Гавриловна уведомила жениха, что ждет его завтра в девять вечера у жабринской церкви, где все будет готово к венчанию. Понял? И, не вступая в дальнейшую полемику, плавно развернулась и покатила под горку домой. Не оглянулась, не в пример некоторым слабовольным мужьям, ни разу. И Ви-



тек, промокший насквозь в своей вельветовой курточке, припустил за электричкой, шепча в никому не слышном гневе: «Жди, разбежался, б...»

А в Москве, в его ведомстве, Виктора ждала срочная сквозная командировка на идущую полным ходом беспримерную стройку так называемого СУККа — Сибирского Ударного Комсомольского Кольца. В связанные незамерзающими термоканалами города: Ленск, Онегинск, Печоринск, Красноенисейск и Новоново-сибирск. Вернулся через полтора месяца — простуженный, проспиртованный и все к чертовой матери позабывший, только иссосанный виной за приобретенный в одной бригаде коммунистического труда триппер.

Уже отгорело в Приветях бабье лето, уже сожгли на участках листья, уже схватывало тонким стеклышком лужи по ночам. Встретили Витька чуть испуганно, удивленно, но без враждебности, без сцен — как милую, хотя и дальнюю родню. За унты благодарили. Оставляли ночевать. Однако Витек, не вдаваясь в подробности, убедительно кашлял и чихал, клял таежное бездорожье, ночные сентябрьские заморозки в нетопленых вагончиках и, снабженный малиновым вареньем, опять убыл в Москву. Странную жалобную улыбку Маши и ее напряжение объяснил обидой.

В Москве он позвонил одной золотой Фриде Адольфовне, она вкатила ему в течение часа три укола по тридцатке кубик — и вот Витек совершенно, не поверите, здоров. Как бы даже морально обновлен. Решительно все неприятные выделения

прекратились отовсюду в одночасье, словно перекрыли вентиль, — такого баснословного спектра антибиотик ширнула ему золотая Фрида. Он даже в экспериментальных целях пообедал в ресторане «Прага» — и хоть бы что.

Ну а поскольку погода стояла уже гнусная и омерзительная, унылейшая ноябрьская пронизывающая пакость — Маша вслед за отцом также отчалила, покинула усадьбу.

И позвонила Витьку на работу. И они, представьте себе, стали снова встречаться и ближе к Новому году поженились. В качестве свадебного подарка Витек премировал молодую жену путевкой в Чехословакию. Ну и себя, конечно. Отличная туристическая поездка по городам Чехии и Словакии с экскурсией в Татры, на один из горнолыжных курортов. Но предварительно решили заехать в Приветы — встретить там Новый год. «Под елочкой», — сказала молодая жена — и заглянула в глаза молодому мужу требовательно и жадно.

Я видел, как они приехали. На трех машинах. Комсомольцы—беспокойные сердца. Напихали в снег бутылок, длинноногие девки с хохотом падали с крыльца в сугроб, Витек топил баню.

Как стемнело, мне стукнули в окно. Я не хотел открывать. Знал, кто и зачем. Но свет у меня горел, и, откровенно сказать, жалко было эту дуру, что вот она будет стучать и знать, что хозяйева — дома и просто не открывают ей, как какой-нибудь каштанке, не хотят пускать в дом и говорить с ней, потому что она дура и дворняжка: уж какая есть.

227

З Д Й Ц Е В Д



Хозяева — это, собственно говоря, я, кому ж еще тут сидеть. Если можно так выразиться, в сечельник. И хозяева понимали, что после всего Марье Гавриловне непросто прийти на этот порог и посмотреть хозяевам в глаза, особенно этим своим ужасным нищим взглядом, который будто прирос к ее жалкому лицу — жалкому и испуганному с самого августа. С той самой ночи. Я прекрасно знал, что она скажет, эта дура, и она именно так сказала: пошли к нам, только умоляю, не ляпни чего-нибудь, ты понял, ни слова, умо-ля-ю! Ты дура, сказал я, дура была, дурой и осталась, дура дурой. В гробу я видел вашу баню, меня ждут.

— Да, — еле слышно шепнула эта бедная дура и наконец убрала свой людоедский, жуткий свой взгляд и низко опустила голову. Я сидел напротив, на диване и смотрел, как слезы капают ей на колени: кап-кап. — Я понимаю. Ты хочешь сказать, мне тоже надо туда пойти? Но я не могу, пойми ты, не могу... — канючила и канючила.

Мне хотелось ударить ее, как в детстве била меня мать: по губам, раскрытой ладонью, сильно — «за хамство твое поганое». За жалкий ее стыд, за ее жалкие слова, за то, что она жалкая сучка дворовая с крошечным сучьим паскудным сердчишком.

Отцу Дионисию я принес в подарок мигающую елочную гирлянду «Московский фонарик», потому что игрушки дети делали сами, а лампочки купить так и не выбрались. Юный математический гений сдержанно расцвел, а девчонки, озаренные разноцветной пульсацией, пустились вдруг в

смирное вежливое кружение — вроде маленьких ангелов. Они были в белых одеждах и, вероятно, ощущали себя снежинками, как свойственно под Новый год маленьким девочкам. Лишь одна их сестра, пятимесячный ползунок Евдокия, временно не включалась в хоровод, а лежала, задрав ноги, в корзине и улыбалась всеми ямочками своего счастливого организма.

С мороза вошел старший Вася, самый степенный из семейства. «Здравствуйте всем», — сказал мужицким басом и втащил упирающегося гостя. Я, конечно, узнал его, хотя видел только однажды. Забыть Феденьку невозможно.

Карикатурно вытянут в длину, как макарони-на. Редкие волосы нитками висят со щек и верхней губы. На лысый череп нахлобучена древняя шляпа цвета засохшей грязи. Молодое лицо, если рассмотреть поближе, сплошь покрыто тонкой паутиной морщин. Ярко-синие глаза плещут святой бессмысленной добротой. В черном рту — ни единого зуба. Улыбался гость так, что хотелось плакать. Дурачок пробулькал что-то, кланяясь на все стороны и размашисто крестясь. «Спаси тебя Бог, Феденька», — улыбнулась Вера и усадила за стол. Он неразборчиво запихивал в рот пищу и восторженно смотрел на мигающие огоньки. Когда большой маятник на стене стал бить полночь, Феденька вместе с детьми захлопал в ладоши и засмеялся, широко раскрыв беззубый рот, как ползунок Евдокия. С двенадцатым ударом встал, подошел к ее корзине, опустился на колени и промычал: «Итуты, Итуты, бластави!»

229

З Д Й Ц Е В Д



Бог его знает, за посланца каких чертогов принял он, бездомный бродяга, ту белую лебедь на случайном песчаном берегу, копая с вечера червей, когда звезды так и чиркали по небу, подводя итоги сезона... В каких чертогах он сам себя представлял в илистой мути своего воображения, а может, и в сверкающих гранях чистейшего кристалла (нам-то почему знать), когда ангел этот хрустальный, не касаясь земли, подплыл к нему, сидящему на корточках, и загадочно молвил с высоты: «Товарищ, обвенчайтесь со мной, я дам вам десять рублей». И взял его холодной рукой за локоть и повел под темные своды, где горели редкие теплые огоньки. «Простите, батюшка, — сказал ангел, стуча зубами, — он вдрабодан пьян и лыка не вяжет, и к тому же вывалялся весь, как свинья, не обращайтесь внимания. Это со страху. Давайте, пока он на ногах». И великан в мерцающих одеждах, должно быть сам архангел, что-то гудел над ними страшным голосом, и ангел холодной рукой сжимал его руку, и было ему жутко, и трепет овладел его душой, а тела не было совсем, будто он умер и лежит лицом вниз в темной реке. А потом ангел что-то делал с его мертвыми пальцами, кольцо оказалось велико и спало, но он сжал руку в кулак, забоявшись, что кольцо ему дали по ошибке и, того гляди, отберут. Но потом понял, что нет, что к нему, к безродному Феденьке, за то, что не грешил, и за всякий кусочек малый, за всякую рыбку и хлебушек благодарил в душе Господа своего Иисуса Христа и странствовал по всяким берегам без-

вредно и безобидно, и крови живой не пролил, и грелся только валежником, а спал в ямках да па-лой листве — что явился наконец к нему, калике переходящему, ангел-хранитель и наградил блестящим колечком за великое его терпение.

И когда стал великан в мерцающих одеждах что-то такое грозно говорить ему и словно вопрошать, а ангел коснулся губами его губ, — повалился Феденька на пол, потому что сил нет, как разрывалось сердце от счастья и благодарности, и волна накрыла его.

Так что пока я бегал в Приветы да на станцию — высматривать Витьку, порядком очумев от всех этих дел, хотя, ясно, не придавал особого значения дурацким ее словам «если он не придет, я не знаю, что я сделаю!» — пока туда-сюда, в мыле весь примчался, — в Жабрине все было кончено.

Что уж я там орал — сам не помню. Эта идиотка выскочила из церкви как ошпаренная, вырвали кусты, на большак — и, не заезжая на дачу, газанула в Москву.

Бедный обвенчанный дурак пускает слюни над колыбелью и все курлычет свое «Иисусе, благослови!». Как ни странно, он оказался изрядным работником, в частности печником. Печка, сложенная им в храме Рождества, не дымит и долго держит тепло. С наступлением холодов он там и ночует — счастливый, на печи.

Семье Дионисия Феденька предан, как пес, особенно любит чинного ведуна Васю.

Своими настойками и мазями матушкин старшой спас бродягу от ужасной ревматической дыбы



в ногах и плечах; он всегда примечает, когда безоблачную синьку заволакивает также боль в голове, будто бы кто расклеывает мозги железными клювами. И прогоняет адских ворон. И лысой башке становится легко, и куцую память не донимают мучительные загадки.

Ничего, никакого лишнего мусора нет в Феденькиной опрятной памяти — каждую ночь выметалось все метелкой из петушиных перьев. А может, есть. Может, там полным-полно понапихано. Почем нам знать, что делается в этой скорбной голове.

П О В Е С Т И



Биятдин Сафин не стеснялся своего ремесла. Другие, особенно кто помоложе, стеснялись, ввали дома, что грузят тару в магазине или там копают траншеи на кабельных работах. Легендой начальницы их столярного цеха была некая мебельная фабрика, и она уже растеряла кучу знакомых, которые то и дело обращались к ней по части обустройства своего интерьера. Кой-какую мебель она бы, конечно, могла организовать, но совсем не ту, о которой ее просили. А если бы ее знакомые знали, с какой мебелью она имеет дело, — тоже вполне могли бы сделать запрос.

Так как дело — более чем житейское и каждому рано или поздно необходимое.

Буквально каждому. Потому что, как совершенно правильно отметил покойный Иван Петрович Белкин, которого Биятдин Сафин не читал, а его начальница Наина Андреевна Горемыкина тоже никогда не вспоминала, — «живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». И если бы

233

З А Й Ц Е В А



простые и сильно пьющие люди, которые работали бок о бок с Билятдином в одном цеху под руководством Горемыкиной, или, как звалась она для краткости, Андревны, если бы они могли обратиться мыслями к высоким примерам, они бы, не исключено, испытали (вместо стыда и замешательства) что-то типа профессиональной гордости. Но поскольку все рабочие столярного цеха, за вычетом Билятдина Сафина, проблему своего культурного досуга традиционно решали путем незамысловатой игры в домино в сочетании с допингом, бутылка которого устанавливалась тут же, на днище перевернутого «изделия», как официально именовалась выпускаемая продукция, — постольку никто из них не мог осознать истинного содержания ремесла, в котором развитой человек видит отчасти смысл даже мистический.

Что касается так называемой Андревны, то водку на гробу она не пила и в домино, разумеется, с работягами своими не стучала. Но была изнурена безмужним бытом, бесконечными приводами сына Юрия в детскую комнату милиции, парализованной матерью и прочими факторами дремучих буден, повсеместно распространенных в среде женского населения России, но от этого не менее губельных. К тому же на ее костлявых плечах лежало выполнение плана, произвольно спущенного Горбытом в количестве 200 изделий в месяц. Это значит, с учетом праздников и выходных, — десять гробов ежедневно при ручном производстве силами девяти человек да плюс простои по

сырью: сосновая доска поступает с перебоями, а дубовая для правительственного гроба — вообще «запланированный дефицит». То есть в плане эти двенадцать дубовых гробов стоят, но заранее известно, что материала для них нет и не будет, и если Горемыкина сама по своим каналам семь-восемь кубометров не достанет, вся ее пьянь останется без премии, а лично Горемыкина всегда имеет шанс огрести выговор по партийной линии, потому что, как известно, этот наш хлам и прах находится в постоянной боевой готовности к выносу из всевозможных президиумов ногами вперед.

Короче говоря, задумываться о месте руководимого ею труда в мировом порядке вещей Наина Андреевна тоже, конечно, с полной отдачей не могла. Ее культурного и духовного развития хватало только на то, чтобы наивно блефовать перед знакомыми, которые постепенно от нее все равно отворачивались, что она, дескать, служит начальником цеха на мебельной фабрике в Люблине. Она полагала, что это придаст ей веса в обществе и позволит найти приличного, малопьющего человека на роль мужа, а также отца для грубияна и онаниста Юрия. Но хотя некоторый лысоватый отставник и ночевал у нее раза четыре в момент отъезда Юрия в пионерский лагерь, но разделить жизненную поклажу с этой непрокрашенной, с седыми корнями, сорокавосемилетней женщиной, принять всей душой ее варикоз, сломанные ногти, золотые зубы, жидкую грудь, кашель, а также ее прыщавого уroda, а также сварливую зловонную

235

З А Й Ц Е В А



старуху в пролежнях — таких желающих что-то пока не находилось. От знакомых, как уже было сказано, Наина Андреевна путем вышеуказанного вранья добилась только озлобления в адрес своей, как они ошибочно полагали, ненормальной и черствой позиции. Мамашу же года три волновала одна-единственная проблема дефекации. Юрку оставили на второй год после того, как Наина пропустила мимо ушей намек директрисы на финскую спальню. А сам Юрий клал, по его выражению, на «мырму» со всем своим малозначительным прибором. Будь она хоть министр.

Единственным человеком, который сочувствовал Андревне как женщине и уважал ее как специалиста, был Билятдин Сафин. Да и Горемыкина положительно оценивала Билятдина. По вере своей мужик трезвый и мастера безотказного, он всегда получал от нее самые выгодные заказы. В первую очередь, конечно, особо ответственные экземпляры, по заводской документации, «изделия № 6», а на профессиональном жаргоне столяров — «колоды».

Для тех, кто незнаком с особенностями продукции деревообделочного завода специализированного бытового обслуживания, как причудливо названа наша грободельня, требуется пояснить производственную тонкость. Номенклатурный гроб изготавливается совсем по другим нормативам, нежели рядовой. Он шире, тщательней обработан, он не из занозистой сосны, а из дуба, в отдельных случаях — и из более ценных пород. Подушечка в нем набита не опилками, а ватой, на

обивку идет вместо бязи штапель, а другой раз — и шелк. Ну и фурнитура: уголки, ручки, петли, карнизки, завитушки — об этом, ясное дело, на потоке и речи нет.

Вот такие вот эксклюзивные образцы поручались золотым рукам Билятдина Сафина — к общей зависти, как было бы логично предположить. Однако никто Билятдину не завидовал, поскольку никто здесь, кроме него, работать, честно говоря, не любил, да в общем-то и не умел. Так, сколачивали своими кривыми руками что-то сикось-накось, поскольку потребность в продукции никогда не насыщалась, и еще не родился клиент, который в этом вопросе придавал бы форме решающее значение.

Но Билятдин Сафин — Билятдин Сафин совсем другое дело. В его лице вы сталкиваетесь с редким отечественным явлением: явлением Мастера. Известно, что сейчас это редкий природный феномен вроде дифракции. А когда-то мастера составляли силу России — пока не спились, не перешли с голоду на пересылках и, наконец, не переродились в мутантов, у которых руки растут примерно оттуда же, откуда и ноги. Вообще, история всегда располагала примерами, когда мастеров пытали и казнили. Но со временем отдельные перегибы на местах превратились в повсеместную практику — и даже в теорию.

Прадед Сафа держал гробовую мастерскую в Симеизе и слыл лучшим мастером на побережье. По семейной легенде, его призвал сам аншеф Воронцов, когда в Алупке утонула его тайная лю-



бовница, красавица татарка. На обратном пути Сафа погиб, сорвавшись спяну с горной тропы. Что было странно, ибо прадед, как и все его потомки, пил только воду.

Дед Билягдин продолжал дело своего отца и здорово разбогател на эпидемии холеры. Перед войной он перебрался в Севастополь, рассчитывая развернуть большой бизнес. Там его и шлепнул какой-то перекопский комиссар, наткнувшись на двух бледных как смерть офицеров, преждевременно укрывшихся в замечательных кипарисовых гробах.

Отец Ахмат начинал мальчиком в артели, обнаружил талант и с первыми усиками стал помощником хозяина. Но тут кустарей как раз принялись разгонять, хозяин сгинул, Ахмат несколько лет поработал на верфи, а с началом войны ушел судовым механиком на крейсере в море, где хоронят, как известно, без гробов. В сорок четвертом он высадился на родном берегу с боевым ранением в виде раздробленного голеностопа и, как следствие, оттяпанной по колено ноги. Это в августе. А в ноябре уже топтался, проваливаясь костылем в снег, рядом с какой-то железнодорожной веткой без признаков станции. Больше никогда здесь не останавливался ни один поезд. Вскоре, как грянули настоящие морозы, ремесло Ахмата здорово пригодились бы. Но закапывали прямо так. А кто выжил, построили поселок Кара-Ай, Черный Святой. Или Каравай — для русского уха, для сибирского языка. Ахмат помер, не удержался. Жена его, Зара, осталась на сносях и в разгар весны, 9 мая 1945 года,

родила Билятина. Вот такая нехитрая история. Билятин плотничал и столярничал с самого малолетства, умея все как бы от природы. Свой первый гроб выстругал годам к пятнадцати — матери. И товарняком укатил на юг. А к югу лежала практически вся страна. И сердце ее, ее кровавая печень — Москва.

— Короче, Билятин, — подошел тут Толик Шестаков, жирный парень по прозвищу Малюта. — Ты, ...ля, бригадир, а ребят уважить не хочешь. Ребята, ...ля, обижаются.

Мастер Сафин поморщился. А с другой стороны, думал он (корабликом ведя рубанок по белой доске и глядя, как отслаивается, завиваясь, легкий локон стружки), грех именно не выпить, потому что не только ему, Билятину Сафину, исполняется завтра тридцать пять лет, но столько же лет исполняется и великой Победе.

— Толик, — сказал он Шестакову тихо, как всегда, — а может, завтра?

— Ты что, Билятин, твою мать, охерел ты, ...ля, в натуре? Завтра, понял, гуляем, ...ля, Победа, выходной!

— Я и приглашаю, — мучаясь, проговорил Билятин, внимательно глядя на ползущую длинную стружку. — Бери жену... И вы все, — глянул он на столпившихся мужиков, — посидим, как люди, дома, нормально закусим, такой праздник...

— Сабантуй? — догадался кто-то.

А сизый от беззаветного пьянства ветеран Прохоров уточнил:

— И старуху, говоришь, братъ?



Шестаков неожиданно закричал:

— Да моя сволочь только изгадит нам весь кайф, Билятдин! Это же, ...ля, такая, ...ля, в натуре, а нажрется — вообще, ...ля, туши фонарь!

— Что, работнички, все ханку трескаем? — За общим производственным шумом никто не заметил, как вошла Горемыкина и стояла теперь возле перевернутого гроба, застеленного газетами и сервированного тремя пока бутылками водки, буханкой бородинского, банкой частичка в томате, плавленным сырком, россыпью соевых конфеток и загогулиной полтавской колбасы.

— Какие люди! — загомонили мужики. — Без охраны! Андревна! В честь Победы, а? По маленькой, а? У Сафина именины, у бригадира, Андревна, святое дело!

Горемыкина уставилась поверх очков на Билятдина:

— И ты туда же, Сафин? Не ожидала.

Билятдину, как всегда, стало невыносимо жаль Горемыкину и отчего-то стыдно за свою хорошую трехкомнатную квартиру недалеко от работы, на Дмитровском шоссе, за дружную семью, за свою красавицу Галию с ее вязальной машиной, за Рашида — отличника матшколы, за маленького атлета Рахима и даже за крошечную, похожую на ангела, Афиечку, за ее слабые локоны, как свежие стружки... Он остался в цехе после всех и закончил свой шестой за день гроб. Обычно Билятдин делал пять штук, но сегодня дерево сложилось особенно мягко, гвоздь входил ровно и чисто, доска к доске подгонялась гладенько, и останавливать-

ся не хотелось. Наслаждение от работы теплом разливалось в плечах, спине, зажигалось в паху, как бывало, когда ночью обнимал он свою Галию, ее полированное самшитовое тело; проникая ладонью сквозь кожу, гладил, как хорошо оструганную и ошкуренную доску, касался пальцем выступившей на срезе янтарной капли, подносил руку к лицу и вдыхал таежный скипидарный запах, чуть не плача.

Вот как любил Билятдин Сафин это дело. А сегодня, накануне праздника, в душе был особенный лад. Билятдин радовался, что пригласил в гости мужиков, представлял, как Галия расстарается, напечет-наварит, как будет он сидеть во главе стола и по праву гордиться умным Рашидкой, статным Рахимкой и ангелком Афиечкой. Он вспомнил, как испуганно вдруг улыбнулась Наина Андреевна, приглашенная на день рождения нарядно со всеми, и запел один в светлом, крепко пахнущем свежим деревом цехе, затянул высоким голосом, вольно и однообразно, как степь.

Была у Билятина и мечта. Он мечтал работать гроб товарищу Леониду Ильичу Брежневу. И поскольку Билятдин был мужчина трезвый и прозаический, в мечте его тоже не было ничего дикого и безумного. Хоть и не такой уж глубокий старик, но выглядел Леонид Ильич Брежнев не сильно жильцом. Дряхлеющий на глазах трухлявый гриб — вот как примерно он выглядел, если кто не помнит. Теперь дальше. Конкурентов в изготовлении императорского гроба у Билятина нет, потому что он, как уже известно, лучший ма-

241

З А Й Ц Е В А



стер на заводе, а завод — единственный в Москве, и все правительственные заказы идут к ним. Даже Сталину саркофаг работал здешний мастер — ну, конечно, в спецмастерской при Кремле. Помер, как ни странно, этот старичок недавно (не Сталин, а мастер) целиком и полностью своей естественной смертью. Так что очень даже возможно, здраво рассуждал Билятдин Сафин, его зудящая мечта осуществится, и очень скоро.

Боялся Билятдин только, что Политбюро КПСС и правительство, как разочарованные в советском мастеровом с его своеобразными руками, не поленятся сторговаться с каким-нибудь немцем. И еще было у него одно секретное опасение. Поговаривали, что сам товарищ Леонид Ильич Брежнев лично — давно помер, а целуется со всеми вчас его абсолютный двойник, какой-нибудь артист, которому потом тайно дадут заслуженного, если не выбросят из машины на полном ходу где-нибудь на междугородной трассе. Билятдин слышал, что и смерть Сталина пару дней скрывали, чтобы не волновать народ и мировую общественность, а главное, потому что не разобрались между собой. Вот и сейчас, не исключал Билятдин, товарищ Леонид Ильич Брежнев втихаря похоронен, а эти сразу и передрались, — не знают, кому доверить пост. И пока махаются промеж себя — посылают целоваться вчас с неграми артиста. И тогда, конечно, вряд ли удастся Билятдину показать, на что способен российский мастеровой, если он художник своего дела.

Штука в том, что шедевр уникальный этот самый, колоду номер шесть своей жизни, свою Сик-

стинскую капеллу, Аделаиду Ивановну свою, свое 18 брюмера — Билятдин Сафин сочинял уже давно. И был близок к завершению.

— Заруливай, Ахматыч! — уважительно приветствовали мужики во дворе. Как обычно с наступлением тепла, они теснились на двух лавках возле вбитого в землю одноногого стола и отдыхали. Отдыхали мужики двумя пол-литрами белой (плюс порожняя под столом) и пятилитровой канистрой пива. Закусывали крупным лещом, отдирая тонкие лучинки рыбьей плоти. Миша Готлиб, по-видимому хозяин леща, готовил следующую порцию, с ненавистью круша жестяную тварь о край столешницы.

— Давай, Сафа-Гирей, не обижай православных! — Миша мизинцем поправил очки и смахнул прилипшую к стеклу перламутровую чешуйку.

— Это с какого бодуна, Мишаня, ты православным-то заделался? — упрекнул Борщов, дурень и халявщик, которого терпели только потому, что был когда-то этот козел одноклассником Миши Готлиба, человека во дворе уважаемого за образованность и широту души.

Миша прищурился и, продолжая избиение, отвечал с натугой труда:

— Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, яд аспида под устами их.

— Ты чё? — встревожился Борщов.

— Через плечо, — пояснил Готлиб и бросил изувеченного, как в натюрморте Кузьмы Петрова по прозванию Водкин, леща на середину стола.

243

З А Й Ц Е В Я



Билятину не терпелось навестить в мастерскую, навестить своего красавца.

Гроб он строил по старым чертежам, с застекленным оконцем в крышке, на фигурных ножках в виде львиных лап. Как раз вчера начал вытачивать последнюю и хотел сегодня уже наметить пазы, чтобы за праздники не торопясь конструкцию установить и приступить наконец к внешней отделке: резьбе, полировке, оконцу и прочим утехам деревянного зодчества. Но и отказывать Мише, человеку уважаемому во дворе, тоже не хотелось. А Михаил, как чувствовал, искашал:

— Гребни, не стесняйся, Сафа-Гирей, рыба царская, астраханского разлива, из командировки припер, директор комбината дал взятку, из своих закровов!

Миша Готлиб сидел, как говорится, в подаче, отовсюду уволенный, и питался небольшими крохами, перепадаемыми инспектору по охране окружающей среды.

Вначале-то он пошел, как все, в ЖЭК, сутки через трое, ночным диспетчером по лифтам. Но как бывший геологический разведчик недр, на новом малоподвижном поприще изнемог с непривычки от тоски и попросился в общественные инспектора.

За такой прекрасный порыв ему положили пять рублей за выезд плюс суточные, и свои сутки через трое у пульта в диспетчерской он тоже не бросал отдремывать.

«Запорожец» типа «мыльница» купил у него русский тесть, что было удобно (не то, что русский, а то, что тесть, поскольку жили вместе и ма-

шина из семьи не ушла), а гараж приобрел под мастерскую Билятдин Сафин, за полцены, поскольку половину гаража по-прежнему занимала все та же «мыльница». По этому поводу Миша любил вспоминать стихи:

Гармонь пропили. Пели без гармонии.
Потом решили заглянуть домой
К тем людям, что гармонь у нас купили.
Там выпили — и пели под гармонь.

Так что и деньги у Миши водились, и странствиям по просторам биологической родины он мог предаваться, и перспективу имел в образе родины исторической. И за все это в сумме Билятдин уважал Мишу, с одной стороны, как специалист, а с другой — как представитель национального меньшинства. И потому он стукнул Галийке в окошко первого этажа, передал купленные по дороге картофель и глыбу мороженого палтуса, дотянулся до высокого стульчика Афиечки возле кухонного стола, пощекотал бочок, отчего крошка поощрительно предъявила оба зуба, осторожно погладил жену по куполу живота — и откликнулся на приглашение.

— Молоток, Сафа-Гирей, — одобрил Миша Готлиб и налил Билятдину пива.

Между этими представителями двух дружественных классов, а вернее, класса-гегемона и незначительной прослойки существовало одно коренное разногласие. Миша, хоть и снаряжался на свою еврейскую родину, был закален в проруби русской культуры и в лице бутылки хорошо очищенной водки имел верного и неразлучного дру-

245

З А Й Ц Е В А



га. Билятдин же Сафин, напротив, умел ценить преимущества оседлости и, хотя умереть планировал на диван-кровати в своей трехкомнатной квартире на Дмитровском шоссе, духовный потенциал крепил на чужеродных мусульманских доктринах и в этом вопросе был, надо сказать, кремень.

Но Мише захотелось сегодня как следует угостить мужиков, не исключая Билятдина. Миша Готлиб праздновал трехлетие своей «подачи». Три года назад он получил вызов из Беершевы от своей старшей сестры пенсионерки Клары, подал документы и начал свое великое ожидание. Миша верил в магию нечетных чисел, в силу таких критических сроков, как три, пять, семь лет — или, скажем, одиннадцать, — и придавал сегодняшней дате судьбоносное значение. Поэтому, легко обманув необстрелянность соседа, он влил Билятдину пиво в стакан, где уже на четверть (если не на треть) притаилась в сумерках незаметная прозрачностью водка.

Вскоре стало шумно и весело. «Коля!», «Миша!», «Пал Палыч!», «Самвел, пьянь тропическая!» — то и дело призывно кричали женщины с разных этажей, и только на первом окошко светило мирно и терпеливо: невозмутимая Галия, уложив детей, похаживала вдоль вязальной машины и позвякивала себе рычажками под бульканье азу на плите и бормотанье телевизора, уставив в ночь тяжелое орудие своего живота.

Голоса за столом казались Билятдину ритмичной музыкой, а деревья кружились и опрокидывали на

него едва оперившиеся кроны. Новые ощущения Билятдину нравились. Ему хотелось говорить много, цветисто и мудро. Множество разных слов и суждений билось в голове, пенилось, словно пивной крымский прибой.

— Ахматыч! — тряс его между тем за плечо Борщов. — Слышь, Ахматыч! Тебе мертвецы снятся?

— Чего? Какие мертвецы? — вздрогнул Билятдин.

— Известно какие. Ну вот бывает, другой раз, привидится во сне покойник — сам, понял, мертвяк мертвяком, а сам с тобой разговаривает и руками так, ты понял, манит, манит...

— Борщ, — мстительно вступился Миша, — а вот тебе, к примеру, говно снится?

— Это почему это мне должно сниться говно? — обиделся дурень Борщов.

— Ну если ты у нас санитарный техник, работник бачка и унитаза, то что тебе должно сниться? Снежные вершины?

— Представляешь, Борщ, — затрясся дембельхохотун Батурин, — ну по всему видать: говно говном, а разговаривает с тобой и манит, манит...

— Говно видеть — между прочим, к деньгам, — авторитетно подвел черту персональный пенсионер союзного значения Пал Палыч Красноштан, отчего Батурин свалился с лавки и долго еще корчился неподалеку.

Билятдин Сафин, человек довольно автономный, ни с кем особой дружбы не водил и мусульманского сердца никому, как правило, не открывал. Но к Мише Готлибу испытывал чувства специфич-

247

З А Й Ц Е В Д



ческие как к существу довольно близкому по вере (раз, сманенный в баню, Билятдин обнаружил, что сосед тоже обрезан); кроме того, Билятдин трепетал перед сакральностью акта, которому Миша посвятил три последних года жизни. На глазах у всех человек переходил в иное качество осмысленности, рыл в равнодушной почве лаз, чтоб уткнуться в конце этого туннеля не в тупой холодный свет, о котором галдят все вокруг, а в темную сырую рыхлость корней и сплести с ними корень своего смысла. Не такому ли пути к блаженству учит Магомет?

— Миша, — с усилием выговорил Билятдин и коренасто навис над столом, упираясь ладонями в острые плечи напротив, — Михаил, я тебя уважаю...

— И я уважаю тебя, Сафа-Гирей, вот тебя я по-настоящему уважаю...

— Нет, ты мне другое скажи: за каким примерно хером ты едешь в такую ох...ую даль?

Билятдин никогда, ни при каких обстоятельствах не осквернял свой трезвый язык заборным словом, и застолье от изумления словно бы протрезвело на миг, замерев. И перевело замутненный недоверчивый взгляд с Сафина на Мишу. И прищурился Красноштан, покачав персональной своей головой:

— Правда что. Именно что — за каким?

И даже Батурин — не засмеялся, а тихонько выкрикнул:

— Эх, Майклуша, что с Билятдинычем-то, змей, сотворил!

Но Миша серьезно и твердо отвечал:

— Хочешь знать? И вы — вот вы все, здесь присутствующие хроники и бытовые алкаши, вы все хотите знать, за каким, образно выражаясь, хером еду я на свою родину?

— На ро-одину?! — выпучил рачьи глазки Красноштан. Он треснул кулаком по столу и гаркнул: — Здесь твоя родина, вонючка! Тута вот!

— Иди в жопу, — подосадовал Миша и продолжал: — Объясняю. Только сперва немного выпьем. По чуть-чуть.

— Я не пью, — сказал Билятдин. — Ты же знаешь.

— А я, что ли, пью?

— Сидим, джан, бэсэдуем! Нет? Кто тут пьет? — пожал плечами Самвел из автосервиса, который при сухом законе уже давно был бы долларовым миллионером.

Глотнули, крякая и шумно выдыхая. Миша встал, весь в седом печальном пуху, словно тополь, упершись головой в звездное небо.

— Значит, объясняю. Знаешь ли ты, Сафа-Гирей, дурилка ты картонная, чем ты дышишь? Что пьешь или, допустим, хаваешь — какие огурцы, какую рыбу, какие, извини за выражение, яйца? Какой ядовитой отравой покрыты изнутри в десять слоев твои роскошные дети, чтоб они так жили, как моя Клара на своих двух этажах в Беершеве! Я езжу по этим, мать их в душу, промышленным гигантам, по этим правофланговым таблицы Менделеева! И поверь мне, Билятдин — и ты, ветеран Сраноштан хренов, — всей этой б...ской таблицей, этим всем

249

З А Й Ц Е В А



дерьмом набиты наши речки под завязку, и почва, и атмосфера в смысле воздух — в том числе. Вот и прикинь, — мизинцем поправил Миша очки, — могу ли я в дальнейшем обрезать свою, дай ей Бог здоровья, Соню с ее диабетом и Борьку, скотину эту великовозрастную, трахнул, негодяй, какую-то шлюшку из класса, добро бы еврейку, нет, русскую красавицу нашел, теперь вот чувачка новенького ждем, после экзаменов будем жениться... Значит, всей этой хевре, включая новорожденного, тут, на вашей этой родине вашей хавкой травиться? Нет, Мойша хочет здоровую жену, здорового внука, сына и даже невестку, или, как сказал бы Сраноштан, сноху, будь она трижды слаба на передок! И я больше скажу, я еще уболтаю моего любимого тестя, старого пердуна Степу, с его геморроем и Миррой Самуиловной, продать — между прочим, тебе, Сафа-Гирей, — горбатенький наш «запорожец» и свалить вместе. Гадом буду.

Миша сел.

— А родина? — несмело нарушил тишину грововщик.

— Что родина?

— Ты же на родину... предки... Про корни говорил... Мишенька! — Билятдин чуть не плакал. — Про Моисея кто рассказывал? Сорок лет... А ты — огурцы... Таблица Менделеева... Эх!

Билятдин неловко смахнул пустой стакан, перешагнул через лавочку и, шатаясь, побрел сквозь густое, насыщенное таблицей Менделеева воздушное пространство двора к своему подъезду, справа

от которого светилось на первом этаже недрема-
ное окошко.

На полпути, впрочем, ноги его заплелись, по-
несло Билятдина куда-то вбок и непослушной ино-
ходью прибило к железным дверям гаража. Замок
криво висел на разомкнутой дужке. «Взлом!» —
пронеслась в тумане ужасная мысль. Сафин от-
тянул дверь, вошел, привычным движением шелк-
нул выключателем. Гроб был на месте.

Автомобиль — «горбатенький» — тоже. Беспо-
рядка не наблюдалось. «Михаил, поборвать бы
ему, второй раз запирать забывает, деревянная баш-
ка! Смеешься ты надо мной, что ли... Атмосфера,
ишь! А сам взятки лещами берет, чистолюй. Сам
и есть дурилка картонная...» — ворчал про себя Би-
лятдин, запираясь изнутри.

Потом полюбовался на свое изделие, погладил
его струганый бок, с трудом снял тяжелую крыш-
ку, погасил свет и, кряхтя, забрался на верстак.
Перекинул одну ногу, другую, встал задом кверху
на четвереньки, сгреб в изголовье стружки и ве-
тошь, укрылся курткой и, подложив ладони под
щеку, тяжело захрапел.

На дворе было еще темно, когда Билятдина раз-
будили. Гулко отзывалась на удары металлическая
дверь. Отряхиваясь, Билятдин скинул крюк, от-
валил щеколду — и, как говорится, обалдел. В едва
сочащемся рассвете стояла перед ним — нет, со-
всем не маленькая милая Галя, а рослая перемученная
кляча, не кто иной, как Андревна, Наина
Горемыкина собственной персоной.

251

З А Й Ц Е В А



Огромными и черными от ужаса были на бледном костистом лице глаза.

— Сафин... — прошептала Наина, и косно воорочался в отверстие ее черного рта язык, — Билятдин Ахматович...

Андревна обеими руками сильно сжала локти Билятина, так что тот ойкнул, в испуге подняв к ней заспанное синеватое плоское лицо.

— Разит, разит от тебя, Сафин, как из бочки... — гудела черноглазая, черноротая Наина, — спишь тут и ничего не знаешь, подлец!

— Да я и выпил-то пива, пивка с литр взял, не больше, чем же я подлец, Наина Андревна! — тоже почему-то зашептал Билятдин, и так же трудно поворачивался его язык.

— А тем ты подлец, Сафин, — строго и громко сказала Андревна и отпустила его, — что дорогой товарищ Брежнев Леонид Ильич, лауреат и герой, скончался и помер этой ночью, а ты ханки натрескался и не работник!

Билятдин так и закрутился на месте, присел и пошел юлить волчком, как шаман, и бил себя по тугой черной голове, словно в бубен.

— Ояоя-а-аэля-аа... эгоя аллах-варах каравай мой, вай кара-а! — пел Билятдин, а Горемыкина пританцовывала на месте, не в силах устоять перед ритмом, и щелкала пальцами. — У меня же все готово, печень моего сердца, Наина ты моя Андревна, вот он, глянь сюда!

И тут с ледящим страхом вспомнил Билятдин, что не выстругал он ни пазы для ножек, ни саму ножку, правда, последнюю, не успел закон-

чить, не говоря уж о полировке, морилке... А оконце! Он даже стекло для него не отмерил!

Наина, стервь глазастая, мгновенно запеленговала все недочеты и прошипела:

— К вечеру чтоб успел! Похороны завтра.

Билятдин подумал было, что на вечер у него приглашены гости, в том числе, кстати, и сама Горемыкина: пропал день рождения, а заодно и тридцатипятилетие великой Победы, любимого после Нового года праздника всей Билятдиновой семьи. Но тут, сами понимаете, не до праздников и не до Победы, когда надо гнать-успевать к всенародной скорби, что состоится, считай, через двадцать четыре часа.

До вечера время промчалось удивительно быстро, можно сказать — промелькнуло.

Так и не успел Билятдин, как замыслил, вырезать на крышке голубя мира, а по углам — пальмовые ветки. Но львиные ножки вструмил на совесть и оконце аккуратно закрыл золотистого, солнечного цвета стеклышком, чтоб дорогому товарищу Леониду Ильичу повеселее лежалось. Ну и проморил, так что дуб затеплился, засмуглед шмелиным медом, и лачком в три слоя прошелся... И стоял, таким образом, на изогнутых крепких ножках не гроб, а шоколадка «Золотой ярлык».

И ровно в двадцать один час, когда в программе «Время» как раз диктор Кириллов своим ритуальным голосом словно бил в большой барабан: «Сегодня! В три часа двадцать минут утра! После продолжительной болезни! Скончался! Выдающийся! Всего прогрессивного! Лидер! Социалистического

253

З А Й Ц Е В А



труда! Мир скорбит! Глубокая и всенародная! Героическая борьба! Борец! За мир! Во всем! Мире! Невосполнимая!» — как раз в эти напряженные минуты с шикарным шелестом тормознул у дверей гаража гигантский продолговатый черный «жук», открылись задние дверцы фургона, и четверо отглаженных хромовых ребят легко вогнали гроб в чрево машины. Билятдин вполз следом.

В Кремле гроб те же четверо поднимали по широкой мраморной лестнице с золотыми перилами и красным ковром, прижатым к ступеням бронзовыми прутьями. Потом несли длинными коридорами, а Билятдин все летел следом, вдоль белых стен, и на поворотах на него надвигались малахитовые, гранитные и опять же мраморные плиты, на которых стояли — все почему-то на одной ноге — милиционеры в васильковой форме с красными петлицами, лампасами и околышами. Левая рука вскинута под козырек, правой милиционеры крепко прижимали к боку маленькие деревянные винтовочки с примкнутыми штыками. Второй ноги Билятдин ни у кого из них не обнаружил. И, как ни странно, эта единственная росла у них из середины туловища, как у оловянного солдатика: синяя штанина галифе и блестящий сапожок.

В большой комнате, даже, пожалуй, зале, в самом его центре и опять-таки на мраморной плите, как на пьедестале, помещалась просторная кровать. Не то чтобы громадная, а так примерно полутораспальная. В высоких подушках полусидел товарищ Леонид Ильич Брежнев и грозно смотрел из-под раскидистых бровей. Обшарил тяжелым

большим взглядом всю группу товарищей и оставился на Билятдине. Выпростав из-под одеяла дряблую руку, он, слабо шевеля пальцем, поманил Сафина.

— Ты хроб делал?

— Так точно! — хотел браво ответить Билятдин, но похолодел, голос сорвался, и он проблеял какую-то невнятицу.

— А вот мы щас и похлядим, что ты там наколбасил, халтуряла! — хрипло засмеялся товарищ Брежнев, и челядь угодливо захихикала.

Товарищ Брежнев откинул одеяло. Оказался он в черной тройке, галстук и лаковых штиблетах. Кровать была высокая, да еще цоколь, — поэтому товарищу Брежневу пришлось перевернуться на живот, свесить ноги вниз и так сползать, держась дряблыми руками за матрас: точно как это делает по утрам малышка Афиечка. Затем товарищ Брежнев крепко взял Билятдина за плечо и повел его к гробу. За пару метров отпустил, оттолкнулся от пола правой ногой, сделал плавный прыжок и рухнул в гроб — точнехонько по росту, словно по мерке скроенный.

— Накрывай! — махнул бровями.

Четверо понесли крышку.

— А ну, стоп, стоо-оп!! — закричал вдруг товарищ Брежнев, и, весь затекший, Билятдин понял, что разоблачен. — Хде холубь? А? Я тебя спрашиваю, мудило! Холубь мира — я его тебе рисовать буду, ну?!

Товарищ Леонид Ильич Брежнев выскочил из гроба, схватил Билятдина за грудки и пихнул на



свое место. Сам же встал рядом на колени и при-
нялся изо всех сил толкать его в грудь, как бы де-
лая искусственное дыхание. Он наваливался, и
пихал, и жал бедного Билятдина, ломал ему ребра,
повторяя: «Хто теперь холубя мне изобразит —
мама? Или папа?» Билятдин хотел крикнуть, но
грудь его сжималась толчками, и от этого букваль-
но разрывался мочевой пузырь, а голос товарища
Брежнева звенел в ушах, все утончаясь: «Мама?
Папа? Папа! Ну папочка!» Билятдин Сафин раз-
лепил глаза. Он лежал на диван-кровати. По груди
и животу прыгала босыми пяточками Афия и гром-
ко кричала:

— Папочка! Пвосьпайся! Папа, папочка! С днем
рождения!

Билятдин спустил дочку на пол и хриплым, в
точности как у товарища Брежнева, голосом по-
звал жену. Галия поднесла к его распухшим гу-
бам банку с рассолом.

Билятдин жадно припал и долго не мог ото-
рваться. Потом осторожно спросил:

— Ну что там слышно?

— С днем рожденья, именинник, пьяница ты
мой! — улыбнулась Галия. — Поднимайся давай,
парад уж кончился, все стынет.

— Парад? А как же...

— Да что с тобой, Билята, не проспийся ни-
как?

— А кто парад принимал?

— Горемыкина твоя! — расхохоталась жена. —
Что ты, ей-богу, спятил, что ли? Вот надрался-то,
с какой радости?

— Н-ну... в смысле это... — замылся Сафин. — В смысле — Брежнев-то был на трибуне?

— Билятдин! — рассердилась Галия. — Думаешь, очень смешно? Хватит ваньку валять, мы голодные!

Билятдин в трусах вышел в кухню. Рашидка и Рахимка вскочили из-за стола. Один сунул отцу приемничек, который собирал вечерами, другой выполнил стойку на руках и из этого положения пожелал папе здоровья.

— Братцы-кролики, дуйте-ка в магазин, у нас вечером гости, — сообщил Билятдин, и сыновья закричали «ура», а Галия вздохнула всем своим огромным животом.

А товарищ Леонид Ильич Брежнев, возвышаясь над толпой демонстрантов, покачивал на уровне лацкана дряблой ручкой, то ли посылая с экрана скромный привет, то ли грозя слегка согнутым пальцем в черной перчатке. За окнами цвел, как пруд, тихий застойный май одна тыща девятьсот восьмидесятого года. Жилось нам сравнительно весело.



Когда я был молод и примыкал к советскому студенчеству вместе с корешем моим Батуриным, мы много пили и мало ценили преимущества холостой и беззаботной жизни. Но какие возможности открывает перед молодым небогатым мужчиной так называемая летняя практика, понимали даже мы. Батурин и я, да еще Илюша Вайнтрауб, белобилетник по астме, составляли все мужское поголовье нашего курса. Девочки у нас были клевые, художницы по тканям, модельеры, одна к одной, и все, как вы догадываетесь, — мои, потому что Батурин боялся своей Гришки, а безбровый Илюша с угреватым носом и впалой грудью вообще в счет не шел. Улыбка у этого профессорского сынка обнаруживалась, правда, чудесная, как и у его сестры-близнеца: большие заячьи зубы, — совершенно бесхитростная, как у октябренка. Но по своей жестокой глупости мы Райку, как и ее брата, за человека тоже не особенно держали, потому что она была толстуха и

потела, хотя добрее и искреннее существа я и после никогда не встречал.

На практику мы выезжали в глухомань — на Псковщину или там в Архангельскую область, собирали по деревням костюмы, ткачество, рисовали, слушали бабок, ходили в клуб на танцы, купались... И лично мой ночной сон, скажу честно, получался озорным, но весьма скудным.

После третьего курса снарядили нас в Вологодскую губернию. Прибываем под вечер на станцию, как говорится, N, и дальнейший наш путь лежит верст на двадцать к северу, в глубинку. Очаровательное захолустье: пыльный бурьян, по улице бродят козы, автобуса нет до утра. Наша древняя, с вечной беломориной, прокопченная изнутри и снаружи, крючконосая «баба Стася» — доцент Сталина Родионовна Болдина распорядилась ночевать в Доме колхозника и спозаранку, по холоду, двигать дальше.

Дом колхозника — двухэтажное строение, выкрашенное омерзительной розовой краской, с дверью на одной петле и разбитыми окнами, встретило нас мглой и сложной вонью гнилой капусты, аммиака и пережженного комбижира. В пустом коридоре горела из трех лампочек единственная, одетая треснувшим плафоном.

Эдита Пъеха с присущим ей разнузданным акцентом оповещала из приоткрытой двери о своих любовных домогательствах.

— Пошли-ка, поможешь, — велела мне баба Стася.

Комната дежурной оказалась на удивление уютной. Несмотря на белую ночь, хорошо светила не-

259

З Д И Ц Е В А



весть как заброшенная сюда барская лампа на бронзовой ноге под теплым шелковым абажуром. Круглый стол под чистой скатертью украшался глиняным кувшином с пионами. В углу гудел маленький «Газоаппарат», покрытый вязаной салфеткой. Все это доньше сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Сама дежурная, свежая тетка лет пятидесяти — с морковными губами, в тесном штапельном платье без рукавов — пила чай с яблоками и медом.

— Из самой Москвы? Да неужто?! — всполошилась тетка, усаживая нас со Стасей за стол. — Это неужто в Москве про нас знают? Ой, какие гости-то дорогие, а у нас и чайная закрыта! Данька! — закричала она в раскрытое окно. — Данюшка! Да где ты там затрухался, байструцина, цёрт нерусский! А ну, бежи до Ермиловны, откроет пусть быстренько, людям с дороги хоть покушать маленько. Из самой Москвы!

От чайной мы отказались, все, мол, у нас есть, полные рюкзаки провизии, и нужна нам только постель, желательно почище, на одну ночь, но зато в количестве восемнадцати комплектов. Дежурная снова закричала в окно Даньке, чтоб никуда не бежал, а бежал бы, наоборот, в каптерку за бельем, да поживее.

Девчонки вместе с дохлым Илюшей, пасомые между тем Батуриным, сбились снаружи, в палисадничке, в тихое брезгливое стадо. Топтались бледные, растрепанные, унылые; многие курили

и в целом напоминали толпу эзек на пересылке. Только толстощекая Райка без умолку трещала и по-птичьему вертела своей изумленной круглой головой.

Причудливый кудлатый парнишка, видимо давешний Данила, осуществляя мимо них свои ходки за бельем, выворачивал поверх белых стопок жилистую шею и замороженно глядел на городских девочек. С лица Данилы не сходила радостная улыбка. Черные клеши с клиньями из пестрого штапеля — того же, что и материно платье, вздымались вокруг его босых ног мелкие вихри пыли. Поверх брюк болталась тельняшка с рваными локтями, подпоясанная широким офицерским ремнем.

— Как ты думаешь, Миш, есть у них тут канализация? — поинтересовался в своей академической манере любознательный Илюша.

— Щас тебе, канализация! И душ Шарко, — отозвался Батурин с койки, выбрав, по обыкновению, лучшую из восьми, у окна, и, завалившись, в чем был, в излюбленных сапогах — хромовых, отцовых — поверх голубенького пикейного одеяльца.

Без стука вломилась Райка. Она платила нам взаимностью и тоже, я подозревал, мужиков в нас не видела — за компанию с брательником, что ли. «Кушать подано!» — возвестила она с неуклюжим поклоном. Отобрала у Илюшки простыню, которую он вертел так и сяк уже минут пятнадцать, и опрятно, по-солдатски, постелила.

В дверь постучали. «Взойдите!» — пропищал Батурин. Никто не показывался, только осторож-



ный стук не умолкал. Я распахнул дверь. На пороге стоял Данила.

Он был великолепен. Длинные волосы расчесаны на пробор. На тельник, заправленный на этот раз в брюки, натянута узкая, в талию, гипюровая рубашка. Из-под клешей, рвя сердце потрепавшимся лаком, выглядывают черные ботиночки «с разговором». Райка пошла ямочками, не в силах скрыть своих знаменитых зубов. Данила с видимым трудом оторвал взгляд от ее бедер, упакованных в удивительные синие штаны с желтой строчкой, и застенчиво спросил:

— Пацаны, а правда, в Москве девки иностранцам за деньги дают?

Ночью я слышал встревоженные голоса, по коридору кто-то бегал, громыхали ведра, — но, сломленный молодецкой истомой, вскоре погрузился в толстое облако глухоты и уснул. Наутро оказалось, что занедужила Райка. Всю ночь ее выворачивало, девчонки бегали с тазами и ведрами, и, зайдя к ним в комнату, мы с Батуриным увидели Илюшину сестру, похудевшую, казалось, вдвое, зеленовато-белую, с погасшими глазами. Она лежала, что называется, пластом, и потемневшие от пота колечки волос липли ко лбу. Решили, что ехать ей, конечно, никуда нельзя, и пусть Илюшка везет ее назад в Москву. Но и в поезд — как погрузишь в таком состоянии? Проблему легко разрешила Клавдия, вчерашняя дежурная, обнаружив замечательную практическую сметку русской женщины. Всем, включая Илюшу, велела отправляться, куда им надо, а Раечка спокойно оклемается, и

Даня собственноручно доставит ее в назначенное место.

Два дня Данила с матерью ходили за постоялицей. К Райке вернулся ее яблочный румянец, рыжие волосы вновь встали копной, и на третий день она собралась догонять нас. Данька облачился в штаны от выпускного костюма, синюю нейлоновую рубашку, кеды и сказал матери, чтоб шибко не ждала, глядишь, к вечеру ливанет, он, может статься, у дяди Самсона в Выринке и заночует. А то и погостит у него.

Через неделю Клавдия сама дернула к крестному в Выринку. Там она уперлась в замок, но не вытерпела ждать и побежала в милицию. Об этом мы узнали от участкового, который до полусмерти перепугал воротившегося с пятком зайцев браконьера дядю Самсона, всполошил нас и чуть не отправил на тот свет старуху Болдину, когда выяснилось, что Райка в сопровождении Данилы неделю назад исчезли бесследно.

Кинулись на почту. И там выяснилось, что не бесследно.

По дороге в Москву мы снова в ожидании поезда завернули в Дом колхозника на станции N. Клавдия, все такая же свежая, все так же пила чай с яблоками.

Вместо штапельного платья по случаю прохлады ее обтягивал синий джерсовый костюм. Выкрашенные фиолетовым губы поджаты. Она показала нам письмо.

«Маманя, — писал Данила, — не серчай. Поживу покамест у Раисы в Москве. У ней агро-

263

З А Й Ц Е В А



мадная квартира в доме как элеватор с пикой на крыше. Ты бы враз коньки откинула со страху увидевши. Машин здесь что грязи, шуму от их как в кузне. У Раисы тоже машина у папаша. Папаша профессор. Ты бы точно околела со смеху увидевши. Ростом с пацана, волос огромный и рыжий и носяра чистый руль. Мама она евреи но люди хорошие, вежливые. Раиса хочет чтоб я закончил вечернюю школу а после институт. А я хочу выучиться на шофера и записаться с ей. А она пока не хочет. Покамест живем так, не сердчай. Мама мне Райка точно сказала девки здесь правда дают за деньги иностранцам! Кланяйся дяде Самсону и прочим. Твой вечно сын Данила Иванович Вырин».

— Вот, костюмчик сноха прислала. — Клавдия одернула жакет. Глаза ее покраснели, достала из рукава платочек и шумно высморкалась. — Сношенька, еги ее мать, прости господи!

Нельзя без натяжки сказать, чтобы Данька был материной поддержкой и опорой. Парень, правда, безотказный, но бестолковый и нескладный на удивление, делал он на рубль, а гадил при этом на десятку. Пойдет грядки полоть — всю рассаду выдернет; крышу заделывать полезет — продавит дранку в другом месте, сквозь стропила провалится, самогонный аппарат на чердаке сокрушит, разобьет двухведерную бутылку и вдобавок еще сломает ребро. Но все же он у Клавдии — единственный сын в память о шабашнике Ерванде, который девятнадцать лет назад строил у них в Выринке коровник по заказу колхоза «Краткий

курс». Благодаря той стихийной встрече на мшистом черничнике — у Данилы образовались на сегодняшний день горячие глаза, орлиный нос и воронье кудри, хотя все Вырины словно сметаной облиты.

И Клавдия, натурально, ударилась в тоску. А Илюша наш Вайнтрауб стал вроде бы еще меньше ростом. Однажды его привела к нам сердобольная Гришка. Мы с Батуриным второй месяц бастовали в знак солидарности с французскими студентами. Валялись у Гришки в мастерской, пили портвейн. Серега рисовал свои клеенки, я сочинял поэму-юродиаду «Борис Бодунов», и все вместе вечерами мы писали наш многолетний авиационный эпос «Ас Пушкин»... Эх, безмятежная глупость! Мы были счастливы. Потомки могут спросить: где мы брали средства — хотя бы на портвейн и на клеенки? Трудно сказать. Стипендии нас давно лишили.

Родители были готовы кормить, но денег мы у них не брали. Гришка, что ли, вязала на заказ... Мы с Батуриным создали ряд монументальных полотен по технике безопасности для ЖЭКа. Я продал пару талантливых платков. Еще Гришка шила какие-то декоративные фартуки... Вот так как-то, помаленьку.

История Клавдии Выриной нашла отражение в одном нашем лубке под названием «Как Данила-мастер боярыню Раису обольщал, да закручинился». Но описывать его не берусь ввиду крайней игривости текста и грубого натурализма изображения.

265

З Д Й Ц Е В А



Между тем за стенами нашего рая шла полная драматизма жизнь. Илюшка на пороге сразу — за ингалятор — и зашелся. «Вот, ребята, — прохрипел, прокашлявшись, — вот до чего эта сволочь меня довела...» Наелись мы пельменей, Гришка-святость выстала заначенную бутылку итальянского вермута «Чинзано», и поведал нам товарищ свою горестную сагу.

Раечка с малолетства приводила домой одноклассников победнее, шелудивых кошек, бродячих собак; дворовый сумасшедший Витя Пчельников, глухонемой дядька в шинели, бегавший волейболистам за мячом, был постоянным гостем на кухне Вайнтраубов. Рановато родилась, а то бы все бомжи и нищие из подземных переходов сидели у нее в нахлебниках. Поэтому когда обожаемая дочка притащила с практики какое-то чучело с дикой улыбкой и локонами до плеч — мама с папой даже не особенно удивились. «Погостит у нас, пока Илюшки нет, у него в комнате...»

Данилу одели в польские штаны в елочку и в румынские башмаки на рубчатой подошве, купили несколько индийских рубашек, вельветовый пиджак, белый югославский плащ, подстригли на Петровке — и вышел он вдруг совершенно невыносимым красавцем и ухарем. Раечка водила его в театр, в Дом кино, на выставки. В консерваторию, между прочим. После чего родители слышали, как дочка с приятелем ссорятся, причем Данила кричал: «Отвяжись ты от меня со своим Прокопьевым-Хренакопьевым!» Наутро после этой ссоры домработница Дуся, отправляясь на рынок, увидела

Раечку в ночной рубашке, крадущуюся к себе — из комнаты голоштанного армяна!

Ну а с возвращением Ильи Данила-мастер открыто перебрался к Раечке. Поначалу Дуся пыталась будить ее утром в институт, но в один прекрасный день «наш полюбовник» выперся в чем мать родила и зарычал: «Слушай, ты, как тебя, чё те надо? Дела у нас с Райсой, секешь? Вали давай отсюда конем, а то достучишься у меня!» Дусе, надо сказать, было шестьдесят восемь лет, и пятьдесят из них она прожила в семье Вайнтраубов, девчонкой помогала по акушерской части еще прадеду-гинекологу, потом деду — безродному космополиту; ходила за нынешним профессором, вырастила и Раечку с Илюшей. Понятно, что добрая старушка чуть не померла от обиды и пожаловалась для начала Илюшеньке, так как боялась волновать самого «голубя-сердечника» и «бедную Мусеньку». Илюша, бессильно сжимая кулачки, няню, как мог, утешил, но Раечку больше по утрам не тревожили.

Наша детка все реже появлялась на лекциях, завалила зачет по истории КПСС, и практика у нее была, как известно, не сдана. В деканате Илюшу предупредили, что собираются «поставить вопрос».

— Идиотка! — кашлял Илюша. — Поступать-то больше некуда с нашей анкетой!

Данила пристрастился пить кофе со сливками и слушать битлов. Занимался этим целыми днями. У него обнаружился слух. Райка снесла в комиссионку новые сапоги-«аляски» и купила гитару.

267

З Д Й Ц Е В А



Теперь с утра до ночи Данила Иванович подыгрывал сладкоголосому квартету и оттачивал высокие в Sexy sady и, безусловно, Yesterday. И с огромным энтузиазмом курил. У Илюши было уже два приступа с неотложкой. Профессорша, бедная Мусенька, как-то набралась храбрости да и попросила Даньку курить на балконе. Тот пожал плечами: «Да мне-то чё, я ваче хошь завтра непосредственно уеду, маманя, поди, заждалася...» Потом сквозь гитарный перебор опять слышно было, как Раечка плачет...

— Миш, ну вот объясни ты мне, чем, чем эти самородки берут наших девочек?! Ведь дубина же стоеросовая! — Илюша обхватил лапками рыжую голову и был в своих немеряных диоптриях очень похож на сверчка.

— Чем берут? — воскликнули мы с Батуриным. — О, это можно запросто объяснить!

Он внимательно нас выслушал, всхлипнул и крепко уснул, оглушенный голым светом фрейдистской правды.

А Клавдия тем временем снаряжалась в дорогу. Материнское сердце изболелось, да и Москву хотелось глянуть. В Москве этой, слыхала Клавдия, бедному допризывнику легко пойти по неверной дорожке. Профессорская доцка наиграется с ним, да бросит — и Клавдия снова и снова принималась сморкаться, представляя свою кровиночку среди страшных, равнодушных, как элеваторы, огромных домов...

А письмо-то первое и последнее прислал ей сынок без обратного адреса. Как уж Клавдия рас-

считывала найти в столице кровиночку — неясно. Прохожих, что ль, спрашивать, как в деревне Выринке? Хотя она бывала в Вологде и видела, что в большом городе люди не здороваются друг с другом на улице, что и в райцентре, чай, уже не каждого встречного-поперечного узнаешь... А Москва-то пошумней Вологды. Но — напекла пирогов, огурчиков увязала два баллона, домашней тушенки куриной, сала хороший шматок, корзину яиц, баночку варенья крыжовенного... Да и потекла.

...До вечера ходила по ревушим улицам Клавдия со своим сундуком, с узлами и корзинами, гудели ноги, синие точки так и сновали в глазах. Пока не вспомнила, что Райка называла ей ихний институт... кажись, тканый... нет. Швейный? Села на лавочку в скверике, да и заплакала.

— Что, мамаша, сырость разводим? Сперли чего?

Клавдия подняла голову. В слезах расплывался бравый солдатик чуть постарше Даньки. Волосы отросшие, ремень на яйцах, усики пробиваются. Дембель.

Взревывая, поведала Клавдия свою беду.

А солдатом этим был не кто иной, как дембель Батурин. Но не мой кореш, а его однофамилец, тоже хорошо мне известный. Честно говоря, даже и не однофамилец, потому что фамилия моего кореша — вовсе не Батурин. И Батуриным прозвали его в честь именно этого бессмертного дембеля, потому что Серега любил то и дело на него ссылаться: «Дембель Батурин не советует пить перед



сном без закуски», «состав этого сучка — великая тайна, которая едва ли известна даже дембелю Батурину», «Гришка, любимая, не пора ли нам юридически оформить семью и брак, как сказал бы дембель Батурин?».

Я тоже буду еще не раз обращаться к этому персонажу, который нужен мне для поддержки сюжетной линии. Например, сейчас Клавдия находится в совершенно безвыходном положении, потому что найти в Москве человека без адреса и прописки — это вам не на Невском проспекте полтора года назад встретить коляску с любовником собственной сбежавшей дочери, как раз к ней и направляющегося. Что, согласитесь, тоже сюжетные поддавки. Из которых, строго говоря, и состоит жизнь.

Дембель сказал, что помочь ей, безусловно, может. Институт ей нужен, по всему виду, текстильный. И если это так, то вся компания ему отлично знакома, в том числе и Райка, поскольку он, дембель, пользуется особым расположением Райкиной подруги Людмилы, и даже самое кровиночку он, скорее всего, видел у Людмилы на дне рождения, где кровиночка главным образом молчал, а напоследок спел под гитару, причем довольно клево, песню на английском языке, что безусловно говорит в пользу этого чувака.

Весть об английской песне Клавдию доконала: до недавнего времени Данька и русским-то не шибко баловался.

— Мамаша! — прикрикнул дембель. — Отставить сморкаться!

Он ненадолго скрылся в телефонной будке, деля оттуда Клавдии утешительные знаки, — и буквально через десять минут они тормозили перед домом не домом, перед страшной хмурой кручей. Клавдия задрала голову — и не увидела конца острой пики, воткнутой в облака. Аж заробела, на миг забыв горевать.

Пока дембель расплачивался с таксистом и вытаскивал из багажника узлы, Клавдия пугливо озиралась... Вдруг сердце бухнуло и оборвалось: из красненькой, похожей на мыльницу машины вылезла рыжая толстая девка в коротком полуперденчике, а за ней — Данька, кровиночка собственной персоной, да таким пышным селезнем, — хоть сымай на киножурнал. Клавдия опомнилась и кинулась в подъезд. За сыном и Райкой уже закрывались двери в ярко освещенную изнутри клеть — не иначе (знала от кумы) лифтоподъемника, который сам, механическим способом поднимает на нужную высоту. Лифт медленно поплыл вверх — и Клавдия, не слушая, что ей там от дверей кричит дембель, бросилась следом по лестнице — и бежала, топя, пока лифт не встал. Так и завис, окаянный, над своей жуткой бездной.

— Ай не помнишь меня, сношенька?

Распаренная Клавдия нагнала молодежь у самой квартиры, отчего Райка сильно вздрогнула, а Данила присел, раскоряча колени, длинные руки растопырил, да как загогочет: «Опа! Никак маманька на всех парусах! Во, смурная!»

Зимой, в разгар сессии, забрел я как-то на экзамен по истории костюма — к старушке моей,

271

З А Й Ц Е В Я



неустанной Сталине Родионовне. По секрету она мне сообщила, что Раечка, грубо говоря, беременна, в связи с чем ей решено предоставить академический отпуск. А вот Илья, к сожалению, институт бросил. «Хоть вы-то с Сереженькой не оставляйте меня бабью на растерзание!» Я заверил Стасю, что она может рассчитывать на нас еще минимум лет десять, но было мне отчего-то невесело и даже тревожно.

Ну а потом настало лето, и как ни косил я от армии, но награда нашла героя, и в июне меня призвали. Однако предварительно, так сказать, на пошок, решил я на недельку-другую навеститься в Выринку, подышать ее сытным воздухом и написать что-нибудь путное. Осталась там у меня подруга, баба Нюра — баню топила так, что с каждым новым паром ты умирал и одновременно рождался. На теплом сеновале у нее секретно шуршали мыши, а в чистой избе под ногами шелестела нарезанная для запаха болотная трава. Баба Нюра держала корову, поила по утрам и вечерам пенистым молоком, а на ночь любила пугать жуткими сказками про русалок и шишиг. Кореш мой Батурин как раз выполнил наконец данные Гришке обязательства, и я взял молодоженов с собой — как бы в медовый месяц.

А переждать до автобуса завернули мы традиционно в Дом колхозника.

Клавдию было не узнать. Вместо жидких прыдок под круглым гребешком — соломенная башня. Ярко-синие, какие-то африканские серьги звенят, словно уздечка. Перетянутые бока лежат валика-

ми под водолазкой, как ливер в кишке. Непрерывно одергивает на коленях узкую белую юбку и шевелит под столом скрюченными пальцами, тайком ослабив бульдожьей хватку «платформ». Куда девались былые радушие и ласка! Мы попросили чаю — молча плеснула несладкого и уставилась в окно. «А вы с нами?» — «Перед сном не пью. Снутри отекаю». — «А к примеру — водочки?» — «Не откажусь. — С неожиданной бойкостью Клавдия подмигнула и стукнула чашкой. — А ты уж обрадовался, что все вам останется?»

Стали мы пить московскую, припасенную с Батуриным на черный день, и обнаружили, что Клавдия не чужда, ох не чужда этой скромной и высокой радости! Под волшебными парами она отмякла, да и принялась, как положено у людей, выкладывать душу.

Натерпелась наша мать у сватов, чисто казанская сирота в мороз. И много ли ей от них было надо? Всего и попросила — ну на что вам мальчишка мой, кровиночка, ведь натешитесь вы им, да и сгоните, а он-то и пропадет. Не погубите ж его понапрасну. Пусть с мамкой родной до дому-тка вернется. А эта дохлятина, профессорская женка, знай шелками по паркетам — шорх да шорх: а мы его не держим! Катитесь, дескать. Однако Райка-холера как заблажит, сжала кулачки, шея надулась, повалилась прямо на ковер и колотится, красная вся и мокрая. А обо мне, кричит, кто-нибудь подумал? Пусть дите без отца, что ли, растет? Все так и опухли. Како-такое дите? Та-ак, сообразила тогда Клавдия. Девчонка городская, живет без

273

З А Й Ц Е В А



окороту. Шленда, видать, как все они тут, поблядушки сытые. Нагуляла крапивничка, а Данюшемальчонке теперь отдуваться?

И пошла тут не жизнь, а сущая каторга. Клавдия — баба простая, воспитания деревенского, сидеть без дела не может. И невмочь ей видеть, как крутится по хозяйству одна старая нянька — прислугу, словно баре, держат, словно власть у нас не советская: Дуся в магазин, Дуся свари, Дуся подай-принеси! А эти две коровы знай себе полеживают. Мамаша совсем из спальни носу не кажет — Дуся сказывала, жаба у ей. Да сама она жаба, вот что! Встань-ка в пять утра доить, да за коромысло, да наколи дровишек, да в огороде постой внагибку с пару часиков, — думать бы забыла про жабу. Клавдия ей так и сказала: дала бы, сватья, старушке своей помереть спокойно! Неужто трудно самой картохи с магазину принести? Поди не копать! Или же хворобину свою сгоняй, а то, глянь, изbleвалася вся без воздуха-то! И ведь вот, примечай, подлый народ: ты же за ее заступаешься, за Дусю эту неблагодарную, и она же от тебя нос воротит.

Перестала с Клавдией кланяться — ни здрасте, ни прощайте! Раз такое дело — решила Клавдия отделиться. Чего меня обслуживать, чай, не барыня. Попросила себе одну конфорочку, да полочку в холодильнике, да краешек стола... Хотела-то как лучше.

И вот сидят раз с Данилкой, вечеряют. Картошки на сале нажарила, да рыбки к ней — мойвы мороженой на постном масле. Тихо, спокойно... Так нет: ты кушаешь, а ей непременно приспичит блевать за

стенкой. Вот кухня — и вот нужник, все слышать, а эта будто аж кишки из себя вымучивает.

Клавдия, дурного не думая, сыну-то и накажи: шумнул бы, дескать, благоверной, не похвалиться ли ей харчами у себя в комнате, над тазиком, места, чай, хватит. Ну, может, и не стоило бы брюхатую бабу трясти, как грушу, но ведь и он, согласись, не железный. Эта — в крик: мамочка! Шкандыбает. За титьку держится, рот по-рыбьи разинула: извинись, сипит, немедленно! Да где ж это видано, чтоб муж перед законной женой — да извинялся? Бьет — значит любит — ай нет? И плюс Дуська мельтешится, как ветряк, машет своими куриными лапками: да я, да мы, да милицию... Ну — слегка только, самую малость толкнула ее Клавдия в плечико, старуха-то и кувырнись башкой об плиту. А тут как раз профессор с работы: «Муся, Дуся! Что это за вонь у вас? Вы же знаете, что мы с Рачкой не выносим рыбу!» Цирк!

Илюшка вечером, через стенку слышать, всех и завел, жиденок рыжий. Работать, говорит, пойду, сниму комнату: или они — или я! Страсть обидно стало Клавдии.

Эх, взять ей сей же час — да уехать прочь, и Данюшку увезти. Да уж больно жаль молодых-то, и внучонка охота дожидаться! Такая, видать, уж ей судьба: страдать через свое доброе сердце — мягкое, как валенок.

Той же ночью она велела сыну пойти к жене и помириться. Он это умел. А наутро Дуся не встала, и Клавдия нажарила всем яишню — но к завтраку никто, кроме Раи, не вышел. Да и ту, по правде



говоря, стошнило. С головой, кстати, у Дуси оказалось все в порядке — но зато перелом шейки бедра. Слегла старая надолго. Ну а кому ж хозяйничать у этих безруких?

И покатилося, как под горку. Ишачила на них Клавдия, ишачила, но доброго слова так и не дождалась. Вместо этого пригласил ее однажды профессор в свой кабинет:

— Вы с кем говорили о моей частной практике?

— О чем, о чем?

— Видите ли, — мнется, — ко мне вчера приходил фининспектор...

Ну не чудны ли речи? Так свату и сказала:

— Воля твоя, сват, а только невдомек мне — ты непосредственно чего хошь? Говори прямо, не обижусь.

Зыркнул профессор — и прячет глаза свои бесстыжие!

— Ах, как неприятно... Я принимаю дома уже много лет, и ни разу не было у меня осложнений с государством... И не зовите меня сватом, черт подери!

До Клавдии вдруг дошло. Делов-то! Вся парадная видит, как к профессору ходят бабы, а иные еще охают в кабинете — на улице слышать. Она и сказала соседской Наташке в очереди — так, болтали, чтоб стоять веселей: наш-то, поди, дамочек ковыряет, чтоб скинули, лучше б дочку свою ковырнул вовремя, совсем душа из девки вон, страм смотреть...

И всякое лыко в строку. Пошила себе платышко. А на бечку не хватило.

Понаведалься к Дусе: нет ли какого лоскутка? А в углу у ней тряпок — видимо-невидимо. Взяла прямо сверху — обтрушенная такая портяночка — потонее шелку. Разрезала, пристрочила. А вечером Илюшка прилип как банный лист: не видели мой бантик? Да вдруг как уставился на ее обнову, да как заорет, будто его режут: «Вот он, вот, что вы наделали!» Не бантик, стало быть, а батик, тряпка писанная. Крашенка по-нашему. Илюшка-то теперь в зале столовой жил, а весь его хлам валялся у Дуси. Тряпки пожелел! Ну не парень, а гриб ядовитый. И что ты думаешь? Собрал, змей, портфельчик и в ту же ночь сбежал невесть куда.

Потом-то, спустя время, пришел попроситься — перед отъездом на юга. Устроился экскурсоводом, что ли, на берег Крыма. И для дыhalки, опять же, хорошо. Вот грех говорить — а все ж таки еврей он и есть еврей. Без мыла куда хошь влезет — скажи нет?

Да и Данилу пора было приставить к делу. Скоро семью кормить — а куда ж без прописки? Профессор предлагал взять санитаром в больницу — да слаб Данюшка, от крови мутит.

Раиса тем временем совсем перестала ноги таскать и на седьмом месяце скинула без всякого аборта, да так, что едва не загнулась. Шибко переживал Даня. Даже выпьет другой раз — жена все ж. И не углядела Клавдия — пристрастился кровиночка к зеленому вину! Так другой раз загуляет — хоть святых выноси. Однажды с похмелюги патлы себе поджег — чтоб, холера, как у Раисы были.

277

З А Й Ц Е В А



— А вот и мне приветик оставил. — Клавдия засучила рукав и предъявила три параллельных запекшихся рубца, словно от кошачьей лапы. — Вилкой пропахал. В рожу метил, да я закрылася... Пооди, тосковал сильно. Райка-то с отцом-матерью укатила по весне к Илюхе в Ялту, что ли. В общем, пора, говорю, сваты дорогие, и мне в отпуск. Вот временно, значит, отдыхаю.

— А Данила-мастер так и будет там лютовать над этими кроликами? — злобно спросил Батурин.

Клавдия зевнула.

— Зачем. Райка, слышать, на развод подала. Суда ждем.

— Это какого же суда? — Опытная Гришка нахмурилась. — Без детей в ЗАГСе разводят!

— А площадь? Площадь-то делить кто будет? Вот то-то. Нам чужого не надо, а и свое бережем. Ты не думай, я в контору-то эту ходила, как ее... Короце, Данюшке теперь, как Дуся померла, положена пятая цасть. Поло-о-ожена! — Клавдия прижмурила хмельные глазки и лукаво погрозила пальцем.

Я смотрел на эту простую смекалистую женщину и думал о том, как повезло Вайнтраубам, что на дворе нынче 73-й год, а не наоборот — 37-й. А то припухать бы им всей компанией где-нибудь в Коми... Конечно, миролюбиво рассуждал я, человек ищет, где лучше. И нередко за счет ближнего. Это довольно распространенное явление, кто спорит. Но кое-чего мне было не понять. Беспokoила, тяготила мою усталую душу одна вещь.

— А вот, извините, конечно, Клава... Вот просто интересно — за что вы их так?

— Да ведь как же! — Клавдия сделалась вдруг строгой и совсем трезвой. — Ты, к примеру сказать, крещеный?

— Ну я крещеный, — вмешался опять Батурин. — И что?

— А то, что все должно быть по справедливости. По нашему, по православному закону — делиться надо. А кто сам не делится — не грешно и поучить.

Сейчас я уже не совсем молодой человек и убедился, что справедливость — грабли исключительно коварные, и религия аккуратно обходит их стороной, предпочитая трактовать о любви. Справедливость же как доктрина — плод, конечно, убогого и голодного ума, который видит главное условие построения Утопии в дележке. И называет ее для красоты — справедливостью. На самом же деле никакой справедливости в природе нет, а есть одна любовь. (Как нет и утопии, а есть вместо нее кое-где, наоборот, антиутопия.) Конечно, несправедливо любить любовника больше, чем отца родного. И аналогично несправедливо кормить проголодавшегося дитяню человечиною, если под руками нет ничего другого. Однако повсеместно жизнь ставит нас перед разнообразными фактами именно многоликой любви в ущерб справедливости. Да и что такое «справедливость»? Заметьте: она неопределима! Справедливость — это... И все. Это когда...

Допустим, мы с Батуриным делимся с некоей Клавдией нашей водкой. Но разве мы поступаем

279

З А Й Ц Е В А



так потому, что это — справедливо? Нет, просто наши щенячьи души преисполнены любви к ближнему. И тем большее наше разочарование в нем. Теперь я — взрослый, лысый человек и ненавижу болтовню о справедливости, примерно как сладкое венгерское шампанское. А истоки этого неоправданного рефлекса — там, в Доме колхозника на станции N.

Годы службы в Советской армии вытеснили из моей памяти и Клавдию Вырину, и ее сына, и весь этот фестиваль паскудства. В стройбате, затерянном среди комариных хлябей Вологодской области, мое человеколюбие подверглось куда более циничным и жутким испытаниям. Муть о справедливости, которая еще отчасти заволакивала мой мозг, была в первые же недели рассеяна старшиной Хелемендиком и старослужащими Хабидуллиным, Хвостовым и Хопром. И лишь сугубо философский склад ума позволил мне вылежать в лазарете с желудочным кровотечением и сотрясением мозга и не удавиться перед выпиской. Я заглянул в бездны, под очко налитые коричневой жижей столь зловонной, что глубину их не представляется возможным измерить. Ну и так далее.

Окончив срочную службу и следуя в армейском грузовике до Вологды, где предстояло мне сесть в скорый поезд «Вологодские кружева», я не пел с дембелями песен Высоцкого и не испытывал радости. Одну чугунную усталость ощущал я, и зрелое лето Русского Севера почти не касалось моих органов чувств.

Как вдруг грузовик затормозил перед беленым домиком с дверью, заложенной железной скобой, — захолустной чайной, и старшина Хелемендик затрусил куда-то на зады заведения. А я обнаружил, что и улица, покрытая глубокой мягкой пылью и поросшая по обочинам лопухами, и протяжно мекающие козы, что холодно глядят на нас своими желтыми глазами, и чайная, и выкрашенное гнусной убогой краской розовое строение неподалеку — мне хорошо знакомы.

Подоспевший старшина с бутылкой крикнул, что через полчаса — проходящий из Мурманска, стоит минутой; кто спешит — вылезай! Я спрыгнул.

В дверях (все так же, на одной петле) Дома колхозника я столкнулся с неприбранной бабой в бязевом халате. Она выплеснула с крыльца грязную воду из ведра, шлепнула мне под ноги тряпку и буркнула: «Куды лезешь в сапожищах, енерал, грязюку-тко оботри! Тебе ночевать али до кукушки? Дак кукушка не обещаю, пойдет ли...» Я спросил дежурную. «Дак я дежурная и есть. Коли ночевать — то у мене белье не стирано, а ежели до кукушки, дак она уж, почитай, три дни не ходит, а ежели согласен без белья...»

— А что Клавдия Вырина — работает она теперь? Знаете ее?

— Дак знаю, кто ж ее не знает, змеюку. Съехала уж года полтора как. Домушку свою продала и в город подалася.

— Да в какой же город-то?! — Я терял терпение. — В Москву?

281

З А Й Ц Е В А



Видимо, идея о множественности городов была для бабы неожиданной, и она с минуту глядела на меня в растерянности.

— Люди сказывали — в город... Може, и в Москву... Слышь, а ты не от ейного ли сынка-то, часом? А то зимой вот тоже наведывался один, Клавку спрашивал. В ватнике, с чумоданчиком. Тоже с ночевой. Я говорю: белья-то, мол, нету, а он: мы без белья привыкшие. Полез за деньгами — а денег-то, мамонька, пачка вот такенная, и одни червонцы. И червонцем расплачивается — сдачу, говорит, бери себе, красавица, а лучше за бутылкой-тка сбегай. Я к Ермиловне побегла, а она меня и научи, что не с добра энти денжищи, не иначе — сиделый человек, с зоны от Даньки, и хорошо, коли выпустили, а то и похуже быват.

— Похуже?

— Быват, бежалый человек... У нас тута часто бегают с лагерей. Дак ты не от Даньки? Вот и я гляжу: солдат, — стало быть, не с зоны. Ой, а може, ты на зоне конвоир, може, ищешь кого? Ох, Господи-сусе-христе... — Баба выпучила глаза и закусила кулак: — Чё, Данька сбежал? Точно? Ай нет?

Махнул я рукой на бестолковую и пошел, взбивая пыль, на станцию за билетом.

— Эй, солдат! — закричала баба мне вслед. — Вспомнила я! Клавка, точно, в Москву подалася! У Даньки на площади жила с им вместе! У снохито, слышь, площадь отсудила и жила с им, покудова хлопчик по пьянке ее не порезал, мало не до смерти!

Я ехал домой и плохо помню — с правой или с левой стороны светил мне месяц.

Мною владела сильная и уже знакомая мне дрянь, будто меня сунули мордой в бездонную коричневую жижу. Я курил вонючие папиросы в вонючем тамбуре вонючего плацкартного вагона, и такая смертельная тоска наваливалась сквозь разбитое окно всей своей ночной тушей... Я не мог проглотить эту тоску и, наверное, подавился бы ею — кабы на каком-то обугленном полустанке не вскочил в мой вагон налегке веселый дембель Батулин и не угостил меня хорошей болгарской сигареткой имени памятного сражения на перевале Шипка, где русские солдаты в очередной и не последний раз доказали братушкам свою нерушимую дружбу.

З А Й Ц Е В А



Нина Акулина продвигалась по жизни толчками, от конфликта к конфликту. При почти коровьем миролюбии и повышенной тяге к стабильности авантюренность и конфликтность ее жизни убивали Нину. После каждой стычки — сперва в школе, девочкой-комсоргом, потом на работе, и с родителями, а затем с собственной дочерью, с мужчинами — невообразимым количеством мужчин (невообразимо много их было не то что в абсолютных величинах, но невообразимо много для такой испепеляющей бразильской страсти, какую мы испытывали к каждому); после прений на улице, в магазине, в метро и в общепите, после каждого мелкого скандала, который мы переживали как Куликовскую битву, как Бородино и Сталинград, после каждой ссоры и свары следовал распад нашей личности, сборка же нам давалась пропорционально возрасту — все большей кровью. К сорока пяти годам веселая и справедливая девочка-комсорг закоренела в депрессивно-истероидном состоянии.

Мужчин, да и вообще людей, склонных считать это интересной экстравагантностью, — убывало. Верный Олег соблюдал рутинное статус-кво в силу привычного чувства вины как перед Ниной, так и перед женой и в своем безрезультатном искуплении все глубже погрязал в этом адском курятнике.

Нокауты становились продолжительнее и, таким образом, реже и реже давали импульсы толчкам, методом которых Нина совершала свой путь. То есть пока она отлеживалась зубами к обоям в своих никому не интересных депрессиях, ее психологическое время тормозило. Оно как бы ничего не вмещало, никаких событий и информации: организм Нины Акулиной практически не вступал во взаимодействие с окружающей средой. Другими словами — не старел. Так что выглядела она в целом неплохо, что ее, впрочем, тоже уже не радовало. С чего все началось, допустим, сегодня? Эта негодяйка явилась из школы с утвердившимся в последнее время выражением брезгливой скуки, а в ответ на вопросы — такое, понимаете ли вы, обморочное закатывание глаз: ну, типа, еще чего сморозишь?

— Может, прекратишь, в конце концов, эти ужимки? — вот, собственно, и все, что мать сказала.

— Может, ты прекратишь, в конце концов, ко мне цепляться? — огрызнулась эта негодяйка, бросила куртку на пол и закончила аудиенцию. Изпод слабого косяка вывалился небольшой кусок штукатурки.

285

З Д Й Ц Е В Д



— Она еще будет, дрянь, дверьми тут хлопать! — взревела Нина, влетев в комнату к дочери, но не двигаясь дальше порога, как в клетке.

— Хватит на меня орать, понятно?! — крикнула в свою очередь, как обычно, Лиза и затрясла кулачками возле красного хорошенького лица.

— Не смей так разговаривать с матерью, нахалка! Всю душу вынула своим хамством! Слышать не могу твой базарный тон, хабалка! Не-мо-гу-боль-ше-слы-шать, с ума схожу! Нарочно, нарочно же меня изводишь, хочешь увидеть, где кончится мое терпение! В петлю, что ли, загоняешь, дрянь такая, ты меня!!

Четырехстопный этот хорей привел Лизку в неопишемую ярость.

— Замолчи! Не ори! — завизжала она, и малиновые щеки сразу сделались мокрыми от слез. — Это ты меня извела, то ласкаешь, то орешь, как ненормальная, кто это выдержит?!

— Заткнись, истеричка!

— Вся в тебя!

Нина почувствовала, как ее накрывает красной волной бешенства, когда уже ничего не соображаешь и не совладать с собой. Успела только запомнить, как сиротским движением Лизка закрыла голову локтями. А как отдирала ее руки от лица и не могла отодрать, как била по этим рукам, как вцепилась дочке в плечи и трясла ее и как швырнула на диван, и откуда взялся вдруг Олег, который гладил по лицу, профессионально поил противной теплой валерьянкой и щупал пульс, — не помнила.

Нина тихо плакала, как всегда охваченная мучительным горячим разбуханием в носу. Гундосо бормотала: вы все, все хотите от меня избавиться... А вам ведь очень будет без меня плохо...

— Дура ты моя... — вздыхает ей в шею Олег.

Тут является зареванная Лиза и включает телек. «...Состоялись сегодня в парламенте... Никогда не пустуют тысяча сто семьдесят три спортивных сооружения... Клянусь, я убью негодяя! ...заявил в заключение Хасбулатов».

— Лиза, ради бога...

— Лизочка, мама же просит!

— Но я только хочу посмотреть!

Олег выдернул шнур из розетки.

— У себя дома командуйте! — шалея от храбрости, отомстила Лиза.

— Потому что не понимаешь по-человечески!

Лиза остановилась в дверях. Ужасная и острая, «как лезвие бритвы», фраза сложилась в ее начитанной голове. Лицо загорелось, под мышками вспотело от жаркого волнения, и струйка пробежала между лопаток. Лиза сцепила руки за спиной, выгнув влажные ладошки, и уставилась в потолок:

— А вы на меня не орите-ка. На меня родной отец и то не орал, понятно?

И пошла, шаркая — вот именно, нагло шаркая, к себе в комнату.

— Видал? — Нина даже плакать перестала. И закричала в закрытую дверь: — Да ты его видела, отца-то родного, идиотка?!

Каждый раз после изнурительных турниров с дочерью, в последнее время ежедневных и почти



что ежечасных, бедная Нина вспоминала одно и то же — и опять же точила слезу, на сей раз от нестерпимой трогательности воспоминания. В издательском пансионате, куда ездили со скидкой на выходные, она, Нина Акулина, молодая тридцатитрехлетняя мать-одиночка, шагает на лыжах по белой, разрезанной сахарной лыжнею просеке. Сверху время от времени мягко обваливаются с веток рассыпчатые излишки снега, а сзади то и дело опрокидывается в снег Лизка, кулем с санок, прицепленных к одной из лыжных палок. Лизка тяжелая, разгонять санки с каждым разом труднее. Рваное это движение толчками, как, собственно, и вся дискретная Нинина жизнь, не приносит спортивной матери-одиночке, любительнице пеших прогулок и природы, в общем-то никакого удовольствия. Лизка валится и валится в снег и ревет уже не переставая, вся мокрая с головы до ног, и вот, наконец, кольцевая лыжня заруливает в ворота пансионата. Бросив лыжи на крыльце, Нина скачет через две ступеньки и на ходу распонивает орущую Лизку. А там, в теплом номере, сидит за письменным столом некий мало кому приметный умник, угловатый гражданин с будничными глазами и завораживающей грамотностью речи. Изумленное Нинино к нему внимание было в свое время разбужено тем, что из плавного течения этого вербального совершенства вдруг вывинтилось против часовой стрелки и варварски екнуло словечко «звонит» с барачным ударением на первом слоге. Ах, Гриша, востряковская спора, лютый маргинал из потомственных скорняков, ре-

дактор научно-популярной серии, допустим, «Загадки дедушки Пи»... Как и большинство Нининых селезней, он был женат, имел некоторых детей и, разумеется, на дополнительного ребенка не ориентировался. И эти считанные дни, которые они втроем провели в пансионате «Березка», где не требовали паспортов и как бы дружелюбно покровительствовали их стихийной семье, были для Нины счастливейшими проекциями «очага» — теплого и сытного в своей холщовой двухмерной скудости, как для Буратино, благодарного бомжонка. Лизка, всхлипывая, уснула, и воздух деревянной лачужки пропитался таким немецким уютом, такое счастливое оцепенение сковало лежащих по соседству, перепутавших, где чьи ноги, руки, пальцы, волосы, борода, — что проспали ужин. Проснулись посреди ночи, от котеночьего плача. Лизка хныкала с закрытыми глазами, раскаленная, как маленький утюжок. Каждый раз, вспоминая, Нина снова трогала рукой тот нежный жарок, словно гладишь живую курицу, то мягкое трехлетнее тельце, крошечные влажные ладошки... Ну и дальше конспективно: не провожал; тугой кокон, обтянутый дырявым «компрессным» свитером; две недели тяжелого бронхита, ярко-розовый язык трубочкой торчит изо рта в натужном захлебывающемся кашле... В широком пляжном балахоне, сдвинув капюшон на глаза, спрятанные за черными очками, под зонтом катила гусиным шагом к дочке в комнату. «Номик...» — из вечера в вечер изумленно отмечала Лизка, склонная к неустанному комментированию явлений окружающего бытия.



Как счастливо эта нынешняя хамка включалась в игру, с каким святым простодушием не узнавала материнского голоса, плетущего ей всякую галиматью от имени «гномика», домотканного Оле Лукое... За две недели — ни одного звонка. И не эти ли две недели, четырнадцать вечеров, замкнутых на выздоравливающую дочку, свободных от мук ожидания, четырнадцать вечеров изоляции в маленькой, теплой, полутемной комнате с клетчатymi обоями, с крошечной влажной ладошкой между ладоней — не они ли, начинала подозревать сейчас Нина, были самыми созидательными в ее разрушительной, неумелой жизни?

А через две недели она вышла на работу и в столовой все не могла взять в толк, что бормочет там между голубцами и компотом Гриша про какую-то Америку. «Грант, грант», — талдычил как заклинание, — Нина не улавливала смысла. Дети лейтенанта Гранта... Нина громко засмеялась своей шутке и оттолкнула стол. Компот расплескался, что-то опрокинулось, пролилось на колени...

Видали, родной отец на нее, мерзавку, не орал! И как долго-то не орал — без малого двенадцать лет.

Так и ревели практически каждый вечер, каждая на своем поле.

Этой ночью Лиза приняла решение.

— Акулина! Аку-ли-на! — Свирина, вероятно, уже несколько минут стояла рядом с ней, Лиза покосилась на толстые пальцы, стучавшие по плечу. — Ты, может, поделишься с нами, что тебе там

так увлекательно? Свинина простерла ладонь к окну, по направлению пустого Лизиного взгляда.

Свинина вся состояла из отталкивающих привычек. Сидя за своим столом, она поочередно вынимала ноги из туфель и шевелила пальцами. С Лизинового места хорошо были видны линиялые подошвы толстых ношенных чулок, и Лизе казалось, что она различает даже гниловатый запах, распространяемый этими освобожденными пятками. Свинина любила, высоко поднимая руки, перекалывать шпильки в жидком пучке и в жаркую погоду надолго распахивала на общее обозрение небритые мясистые подмышки. Лиза отворачивала лицо, незаметно пригнувшись к себе: не несет ли чесночным потом также и от нее, маниакальной чистюли. Свинина ковыряла облезлым ногтем в зубах, далеко засовывая в рот пальцы. И изо рта у нее разило. Тербила родинку на длинном стебле у себя на коренастой шее. Переходила то и дело с «ты» на «вы». Отхаркивалась в умывальник. Ногтями одной руки вычищала грязь из-под ногтей другой. Существительное «волосы» употребляла в единственном числе, зато «погода» — во множественном. И ко всему еще преподавала биологию — всех этих червей и паразитов!

Боже мой, как ненавидела Лиза Акулина вонючее убожество жизни, отзвуки которого то и дело обнаруживала у себя дома: в струе тухлятины из холодильника, в сопливой зелени на потолке, в обвисшем телефонном кабеле, в битом телефоне, в обоях, размалеванных ею самой десять лет назад и до сих пор не переклеенных, в

291

З А Й Ц Е В Я



ржавчине, ползущей из-под облупленной эмали по ванне, в вытертом до основы ковре, в текущем кране, в надтреснутых фарфоровых кружках, когда-то привезенных счастливой Настей из Америки... Из Америки!

— Пора бы взяться за ум, Акулина. Когда вы намерены...

— Начать заниматься? — Лиза невинно вытаращила поверх очков свои и без того плоски и захлопала наглядными пособиями ресниц. Свирина подозрительно оглядела класс.

— Не вижу ничего веселого. Через год — в высшую школу. На что надеемся, а? Полюбуйтесь на эти прически!

Свина протянула руку над Лизиной головой (обдав ненавистой чесночной волной) и ухватила Настю Берестову за пегую прядь.

— Без рук, — отпрянула Настя, восхитительная девица, курящая только ментоловый Salem и вызывающая в Лизе рабский трепет высоко подбритым затылком, рвано выстриженными пестрыми волосами, четырьмя серьгами в одном ухе и недавним абортом.

— Вы же девушки! — упорствовала в своем заблуждении Свирина. — Что за пакля у вас на голове, Берестова! Сама хоть помнишь, какого цвета у тебя волос? Еще в нос серьгу вденьте! Ишь, вырядилась, вся задница наружу! Форменная мартышка!

Настя лениво смахнула в сумку Voyage зеркала, помаду, а также уступку среднему образованию — клочок с какими-то каракулями и бро-

сила на ходу, не оборачиваясь (чуть с большей, чем обычно, амплитудой шевеля оживленным та-зобедренным участком): «Мылись бы почаще, Раиса Вениаминовна (Раиссвининна). А за оскорбление личности папа подаст на вас в суд». И выплыла.

Захлебываясь от солидарности, Лиза Акулина с воплем: «Настька, меня погоди!» — выскочила следом.

Прошли маленький двор, и Настя постучала в зарешеченное окошко флигеля.

Обшитая дерматином дверь с торчащими из прорех ключьями серой ваты закричала — и такой, понимаете ли, валет бубен: в драных джинсах, голый по пояс (экспозиция культивированной мускулатуры, крестик из перегородчатой эмали), красивые грязные руки в золотом пуху, мягкая курчавая борода и эмалевые глаза, отсылающие к василькам во ржи или к сюжетам о крещении Руси...

Первоклассный мужской экземпляр вынырнул, босой, из скипидарного тепла на холодное крылечко.

— Гостей принимаем? — неузнаваемо мяукнула Настя и, как показалось Лизе, просочилась сквозь бубнового валета, пронизала его смуглые бицепсы, на мгновение распавшись на атомы лица, рук, ног, живота. — Заруливай, Элизабет, — обронила, по обычаю не оборачиваясь. — Это моя Никита.

— Элизабет? — Никита снимал и вешал курточки, жал ручку, уточнял: — В смысле Лиза?

293

З Д И Ц Е В А



— В смысле Элла, — наврала почему-то, и стало смешно, как бывает в маске; как всегда бывает поначалу в чужой шкуре — смешно и немножко опасно, чуть-чуть.

Так, слегка, маскарадная оскомина. Яблочная зелень приключеньца.

Никита, или Никас, как называла его западница Настя, был, конечно, художник, взрослый человек, лет двадцати восьми. Видела его Лиза впервые, но знала, что Настя с ним ж и в е т. Произносилось это страшное слово Настей небрежно, а девственницей Лизой, барышней весталочьего целомудрия (в вечном протесте против «мамашки» с ее козлиными трагедиями), спящей с иконой Богородицы под подушкой и готовой одобрить, пожалуй, лишь ее эксклюзивный опыт зачатия, — девственницей Элизабет произносилось (и трактовалось) это искустельное слово, как и следует вызревающему отрочеству, с гормональным ознобом искушения. (Что за прелесть эти барышни! Знание света и жизни они черпают из болтовни с соседкой по парте и редко из книжек, чаще из телевизора, и звонок телефона для них есть уже приключение. Бедняжка Лиза, ландыш на помойке!) Никас не просто «был художник». Он, как ни странно, хороший был художник.

Честный мастер, без понта, настоящий поэт детали. Офорты раковин и камней, перьев и фактурных тканей аккуратной стопкой лежали на длинном столе-верстаке рядом с настольным гравировальным станочком. Большой, старинный, с

чугунным витым рычагом пресса красовался в углу. Лиза отодвинула подрамник, прислоненный холстом к стене. Открылся большой, два на полтора, фрагмент почвы в масштабе три к одному, покрытый подробной растительностью — чистотелом, папоротником, подорожником, одуванчиком, щавелем, тимофеевкой; в буйной этой флоре утопали огромные (три к одному) детские ноги, посеченные летними царапинами, и сегмент велосипедного колеса.

Художник из тех, на которых уже зашкаливает вкус офицерских жен и старших экономистов, но впечатляющий эстетически развитых студентов, гинекологов с частной практикой, оперных певиц и особенно богатых иностранцев (эти просто с ума сходят), — Никита Гарусов замечательно «продавался». Кавычки, впрочем, смело можно снять. Продавался Никита, по сведениям таможни и коллекционеров, лучше всех в Москве. Его давно звал Нахамкин, но Никита любил свой флигель в сирени, свою трехкомнатную на Масловке, свой дом с баней и катером на Селигере и свою маленькую оторву Настю, и Нахамкин, старый паук, только облизывался. Пусть насекомая мошкара летит в рабство к дилерам. Никита Гарусов — Мастер, все у него на продажу, и в непостижимых пересечениях российской лобачевщины, вообрази, мой друг, это увязано со свободой. Вот фокус. Но фокус также и в том, что с деньгами в России действительно стало можно жить и даже не обязательно при условии, что это твоя родина. Это к слову.

295

З Д Й Ц Е В Д



Завороженная интерьерными исследованиями, Лиза забыла сообщить подруге, что бежит к отцу в Америку и ищет теперь, где бы добыть денег. Пока фокусник Никас гремел и булькал на кухне, успела только спросить: «А тебя он рисует?» На что Настя цинично отвечала: «Что нам, заняться больше нечем?»

Затем немножко винца, немножко необременительной фразеологии на фоне необременительного блюза... Никас звал Настю «лапчиком» и без конца чмокал куда придется. А потом так славно, дружески распорядился: «Теперича, тетки, марш домой, покупатель грядет!»

— А кто? А кто? — запрыгала Настя под Элвиса Пресли, которого как раз помянули.

— Ну тебе-то не один хрен? Буржуй какой-то.

— Наш?

— Ихний. Слышь, лапчик, валите по-быстрому, а то всю клиентуру мне тут коленками распугаете.

— А мы ему тоже продадим чего-нибудь. Элизабет, давай тебя продадим.

С покупателем столкнулись в дверях. Приснули, Настя присела в книксене: «Хай!»

— Привет, — улыбнулся буржуй. Обе канашки мгновенно среагировали на бронзовый окрас любителя пробежек по берегу океана в рассветный час отлива, на густую, гладко зачесанную проседь, на порыжелые от курева усы, на шикарный «смайл» системы «парамаунт», где кислотно-щелочной баланс не страдает почему-то ни от никотина, ни от шоколадного пирога с клубникой. Дядька был по-

хож на кумира шестидесятых, писателя Аксенова, которого Лизка знала по портрету на конверте маминой любимой пластинки с записью странного рассказа «Жаль, что вас не было с нами». Настины юные родители вышли из другой эпохи и среды, породившей больше банкиров и их убийц, чем матерей-одиночек с высшим образованием, и ей пришлось привлечь для аналогии папиного телохранителя Палыча, хотя у того полна пасть золота, и вместо фисташковой фланели на могучем его крупе вечно болтаются бирюзовые адидасовские шаровары, а на каменных чемпионских плечах — кожаная куртка в любую погоду, отчего вокруг Палыча, как и за гадиной Свиной, постоянно порхает запахок, хотя и не такой, по правде сказать, гнусный. Серо-зеленый джемпер крупной вязки, серые замшевые башмаки, плащ хаки — все струило вокруг гостя буржуйский отсвет дорогих магазинов, который Лизе был неведом, а Настю после посещения с мамой универмага на Пятой авеню отравил навек. Усеченная пуля автомобиля той же долларовой масти видна в приотворенную дверь. «А тачка-то!» — произвела наблюдение Лиза. «Феррари», — узнала Настя: такая же — нет, не у папы, а все у того же Палыча, и, следовательно, не столь уж отъявленный буржуй этот дядя Сэм.

— Велкам ту Раша, — продолжал духариться «лапчик». — Я — Настасья Кински. А это — Элизабет Тейлор!

— Очень приятно. — Акцента не наблюдалось. — А я — просто так, Гарри.

297

З Д И Ц Е В Д



— Извините, Гарри. Не обращайтесь внимания. — Никита показал исподтишка кулак. — Это моя... сестра. Зашли вот с подружкой.

— Красавицы, — одобрил Гарри с особой интонацией знатока и коллекционера. Так, с деловитым удовлетворением, дегустаторы, наверное, отмечают: «Недурно!» — разминая по нёбу какой-нибудь мускат 1924 года. — Я уж забыл, как москвички хороши...

И вновь канашки грянули гормональным выбросом, отчего сами даже малость струхнули и с гоготом вывалились во двор.

— Клевый мэн.

— Американец небось.

— Ясно, американ. — Настя с видом покупателя обошла кругом приземистый нездешний транспорт, погляделась, выпятив задок, в боковое зеркальце, скосила носу глаза, оскалилась и утробно прорычала: — «Ах, шарабан мой, американка, я девчонка, я шарлатанка!» Не староват, как тебе? Лет тридцать, а?

— Да ты чего! Не меньше сорока.

— Нравится? Гуляй с ним! — Ликуя, Настасья Кински выкрикнула любимую шутку и вдруг запела: — «Да, да, я стар, а ты молода, я стар, а ты молода!» — ныряя ошипанной головой и выворачивая кисти, как еще один кумир молодежи, предпочитающий парчовые пиджаки на голое тело и особо рискованный, как теперь выяснилось, не тривиальный секс.

— Мои года, — подхватила Элизабет Тейлор, — моя беда! Твои года — моя награда!

— Моя любовь! Ты молода! Я молод вновь...

— Уа, уа!

— Уа, когда ты рядом!

Обе дико захохотали и, взвизгивая, заскакали, погнались друг за другом, уже по-женски кидая ноги в стороны, вильнули на бульвар и там, ослабев от смеха и застающих то и дело врасплох пубертатных бурь, повалились на скамейку.

Соки бродили, пульсировали в выносливой городской природе, постанывала земля на газонах, рвалась из-под асфальта, рвалась из красных почек зеленая листва, как рвутся две пары крепких грудей и крепких ног, рвутся с жадной настырностью городских трав из укороченных коричневых платьев и дурацких черных фартуков.

Гудело в ушах от апреля на бульваре. Тут и нашптала одна другой свой секрет. И спросила у ближайшего ясеня: «Где бы вот только деньги взять?» *Только*, понимаете ли.

Когда на следующий день на подоконнике в уборной Настя изложила Лизе свой план, та лишь повертела пальцем у виска. Но лапчик вошел в пике. Уже любовался сочиненным театром, в восторге от своей новой идеи. И мало-помалу Настин режиссерский зуд передался Лизе Акулиной, в принципе созревшей для приключеньца, но главное, о чем обе канашки не догадывались, рожденной и выращенной для главной роли в этом небогатом спектакле.

Через полчаса были у Насти и еще через час, оставив в огромной квартире кучи баракла на полу перед вывороченными шкафами, направля-



лись бульварами к Никитским воротам, где жмурился у зарешеченного окошка ловкий фокусник-импресарио.

Мужское поголовье, как по команде, оборачивалось и озадаченно смотрело вслед, вставая перед разрушительной проблемой выбора. Одна — затянута в черный комбинезон, белые сапоги за колено плюс вороной привет из Занзибара на башке и ярко-красный революционный рот из цикла «свободу Африке». Другая — русая Ниагара, что-то по локоть, немислимое, шахматное, с плечами и мехом, лайковые шорты не крупнее перчатки плюс мягкое шоколадное голенище до шейки бедра.

Не поспешила Настя для подруги. Новой русской маме хорошо икалось в этот волшебный миг в полосе канарского прибоя.

Даже Никас-Никита опешил от канашек. А уж гость, с замиранием сердца ими ожидаемый и вскоре угаданный по короткому высокомерному шороху буржуйских тормозов у крыльца, — и близко не распознал в роскошных голенастых девках двух давешних школьниц.

— Маэстро! — Гарри споткнулся на пороге. — Признайтесь, через вашу мастерскую лежит караванный путь русских красавиц? Еще один такой визит, и я вернусь на родину, ей-богу.

Паковалось вчерашнее приобретение (те самые, что так нам приглянулись, ноги с велосипедом в траве, у эмигранта губа была не дура). Какую форму оплаты предпочитает маэстро — чек или кэш? Осторожный Никита предпочел наличными.

Гарри достал из кармана брюк пачечку в своей излюбленной гамме: ровно пять тысяч. Пересчитаем? Пересчитывать не стали. Не забыл ли господин Мур русский обычай обмывать попку? С большим удовольствием, Гарри Мур будет рад. В таком случае Никита Гарусов приглашает господина Мура и двух этих милых дам в одно симпатичное местечко. Ах, господин Гарусов так, право, мил. Гарри Мур счастлив провести вечер в такой чудесной компании земляков.

Наступало время предприимчивых недорослей. Частный капитал трубил побудку на всех углах. Объединенные одурением от свободы, словно подростки, когда можно привести домой девчонку, поддать с ней и покурить, а то и потрахаться не торопясь, без паники, лежа на диване (а не как обычно, стоя у батареи парового отопления в подъезде), пока «шнурки» слиняли, допустим, на дачный участок за урожаем штрифеля медового... Подхваченные общим потоком воли, хлынувшей из пробойны недалеко от Красной Пресни, подвижные хлопцы из предместий неслись по Тверской да по Садовому кольцу, густо метя территорию киосками, лотками, будками, подновленными крылечками и подвальчиками, железобетонными ротондами и мраморными ангарами. В толковище и спешке, пока не накрылось все медным тазом, было не до стилия, да и контингент был еще не тот. Адидасовские штаны конкистадоров, правда, укоренились. Но следом за толпами варваров пришли настоящие крутые мафиози со штатом компьютерных гуру, журналистов и дизайнеров. Им, а не пу-

301

З А Й Ц Е В Д



затой шпане с золотыми пломбами и тем более не пожилым сварливым м...кам в парламенте суждено было преобразить столицу, как преобразает старую дуру не массаж, не купание в проруби и не гипноз с заряженными румянами, а лишь кабинет челюстно-лицевой хирургии наряду с качественным сексом.

Проклевывался же Стил в первых ночных клубах — не иллюминированных казино, а затемненных, веселых, изысканных в своей топорности капищах, полюбившихся немывтым рокерам, молодым законодателям гей-движения, просвещенным галерейщикам, безумным кутюрье-концептуалистам, гениям, входящим в моду из берлог, а также американским студентам, которыми вдруг оказалась забита Москва.

Именно в такое симпатичное местечко привел богатый Никас своих гостей. Голубой дым дури слоился под низкими полированными стропилами, раскачивались жестяные фонари, подавались коктейли «Оргазм креветки», «Ночь Лаврентия Берии» и простейший «Гармонь в «Мулен-Руж»: водка с коньяком и горстью неочищенных семечек.

Никиту здесь, судя по всему, знали с лучших сторон, им немедленно накрыли в акустической нише и нашептали про уху с раковыми шейками и розовое «шабли». Гарри Мур, по всему видать, стреляный американский воробей, в отличие от всеядных, отяжелевших от падали воронов Бульварного кольца, альтернативных мук не испытывал ни секунды. Он смотрел на Эллу-Лизу, как

смотрит средний мужчина футбол по телевизору, — жадно, не отрываясь, полностью поглощенный этим, строго говоря, незатейливым зрелищем.

Молода, думал американский богач русского происхождения Гарри Мур, наверняка образовавший свою кошачью фамилию путем усечения какой-нибудь унылой, как зимний тракт, долгой, притяжательной, — черт, как молода, задрыга. Не больше восемнадцати. Если не меньше. А если меньше? Ну, тоже не беда. Они теперь тут все профессионалки. Не будет же она меня шантажировать. А вдруг будет? Не вышло бы скандала... Но до чего обворожительна, сучка!

Здесь надо со всей горькой прямоотой указать, что маленькая Лиза, при своем знаменитом целомудрии, любила выпить легкого винца. Когда-то в Ялте мать взяла ее с собой на дегустацию — и, вкусив в одиннадцать лет от грозди, так сказать, истины, — малышка присасывалась к стаканчику при каждом удобном случае. Розовое шабли чрезвычайно пришлось ей по вкусу, и уже вскоре она раскраснелась не на шутку.

Танцуя, она поднимала к Гарри мордочку в форме пылающего сердечка, близоруко шурилась, щедро улыбалась и лепетала: «Счастливей, живете в Америке... А знаете, я тоже скоро туда уеду!» Ласковая рука с чистыми американскими ногтями партизанила под замшевым жакетом, пальпировала нежные лопатки и позвонки, одобрительно не обнаруживала бретелек и прочей сбруи... «Уедешь? Это каким же образом?» Элизабет склоняла головку к меховому плечу, искоса поглядыва-

303

З Д Й Ц Е В А



вала на затуманенное, такое красивое, такое сказочно доброе лицо и усмехалась углом бледно накрашенного детского рта — искусенно так усмехалась, мерзавка, и вдруг безмятежным движением, словно понимая свою леденцовую неотразимость сонной целочки, доверчиво почесывала нос о ворсистый серо-зеленый лацкан. Ах, канашка! Да кто же, когда научил, спросите вы, спросит, возможно, и педагогически ущербная мать-одиночка Нина Акулина, но не я, странник средних лет, московский наблюдатель и раздолбай, философ без лицевого счета. Этому не учат. Так природа, как говорится, захотела. И других учителей не надобно.

— Уе-е-еду... — тянула с младенческим лукавством. — Есть там у меня один челове-е-ек...

— Сколько тебе лет? — дышал в ухо медовыми усами туманный, мягкий дяденька, похожий на кота, на боевого кота, хозяина всех помоек...

— Восемнадцать... — два года всего присочинила, не так уж и много, и падала голова на широкую грудь, и повсюду эти удобные руки, так удобно в них обмякнуть...

Как неприятно несутся вкруговую стены. Как воеет этот фонарь. Гарри Мур на мгновение ослабил объятие и обнаружил, что Эллочка давно висит в его руках кучей протоплазмы. Такие давеча артистичные ноги подогнулись, как пластилиновые, и едва не заскребли отворотами ботфортов по полу.

Лиза спала на ходу и не видела, как проводила ее цепким взглядом разрозненная бригада девиц у входа в гостиницу, как переглянулись пор-

тье со швейцаром и слегка пошевелил бритым затылком хряк в камуфляже. Не видела, как сунул Гарри дежурной по этажу неприметную бумажку утиного цвета, о которой смело можно сказать, что в России доллар больше, чем доллар. Не помнила, как содрали с нее кожуру сапог, как раздели и уложили на прохладное и мягкое, на широкое и мягкое, не похожее на домашние деревянные щиты, на которых она спала с целью выпрямления позвоночника, такое мягкое, что к ней, к Лизочке, вернулись как бы мохнатые ощущения эмбриона, — и на целую вечность отключила она сознание. И не чуяла, как шаманил на ее длинном безжизненном теле этот колдун, оплетая всю ее, мерзавку Лизочку, дивными узорами поцелуев и касаний, как мычал от соприкосновения с такой несусветной молодостью, с новорожденной пушистостью и содрогался. А она, Лизочка, Элизабет Акулина, даже не вздрогнула, сладко сопя, когда пробил ее узенькое нутро шрапнельный разряд и что-то теплое вылилось и растекалось по хрустящим простыням хорошего, хотя и не лучшего, нет, совсем не первоклассного по теперешнему счету отеля.

— Shit! — скатился Гарри Мур с мокрой постели. — Целки нам тут не хватало, твою мать!

Сон слетел, и вместо него принялась набухать яростная досада, что такое вот милое приключение так дико закончилось. И за постель, согласитесь, неловко. И чумичка эта в лоскуты пьяная... Не сбежать ли — срочно расплатиться — и, допустим, в Питер, живет там одна... Как, впрочем, и здесь,

305

З Д И Ц Е В Д



в Москве, ему наверняка будут рады по крайней мере в двух... даже в трех домах. Нет, чушь.

В России бытует плебейское правило «сдавать номер» — как рапорт. А как его *сдашь* с этой задрогой! Гарри вспомнил камуфляжного хряка и его свинцовый затылок. Фу, что за мысли...

Он докуривал вторую пачку, когда Лиза вдруг открыла глаза и рывком села.

Огляделась, пытаясь поймать удирающие воспоминания. Увидела рядом хмурого Гарри, провела рукой по своей голой груди, вскрикнула, натянула до подбородка одеяло.

— Сколько времени?

— «Который час» у вас, я слышал, говорят... — Озноб вновь накатывал на Гарри и как бы звон, колокольное гудение в бедрах и затылке... Спокойно, Гарри, взгляни на разможенного партнера: его не так-то легко заподозрить в увлеченности перспективой блаженства.

Лиза вспомнила про маму и закрыла глаза от ужаса, молясь, чтобы все это был сон, чтобы вся эта комната, и этот голый дядька с сигаретой, и сама она, голая и — ой, мамочки, вся мокрая, этого только не хватало... (Лиза проверила украдкой пальцем) — ох, вот кошмар, голая, в луже крови... — чтобы все это выцвело, развалилось и истлело, как именно кошмар... Водянистая голубизна за окном вполне могла означать рассвет.

— Да не смотрите же на меня! Который час?

— Ну, полшестого. Почему вы, русские женщины и даже девицы, вот почему, интересно, в постели вы всегда интересуетесь временем? Ре-

гламент у вас, что ли? И только попробуй, беби, спроси, женат ли я! Так, теперь мы будем оплакивать свою невинность! — С легкой брезгливостью Гарри краем пододеяльника вытер канашке мокрые щеки и нос.

— Можно позвонить? — шепнула Лиза, страстно мечтая о пожаре, землетрясении или бомбежке, которые бы одним разом все списали и прекратили ее муки. Хорошо бы этот Гарри как-нибудь исчез, как-нибудь так бесследно испарился, а она бы сама очутилась дома, в своей постели, чистая и сухая, в ночной рубашке, как в детстве, когда крошка Лиза, изнуренная, засыпала в гостях, а просыпалась уже утром, в обнимку со своей подушкой, не помня, как мама волокла ее ночными подземельями метрополитена (сама, между прочим, обмирая от ужаса). Но Гарри не исчезал, а сидел, а по правде-то сказать, пожалуй что лежал рядом и странно смотрел на нее. Смотрел так странно, так вдруг опасно улыбаясь, как дачный кот перед тем, как взмыть в небо и задавить трепыхавшуюся там птичку.

Хищник Мур, пагубный дяденька, поставил Лизе на живот телефон:

— Звони. В общество защиты детей, полагаю?

Нина уже не рыдала и не болталась, натываясь на углы, как тряпичное чучело на палке, по жилой площади, не накручивала пляшущим пальцем абсурдные номера мертвенно-синих приемных покоев и отделений милиции. Оставила она

307

З А Й Ц Е В А



также надежду пробить молчание легендарной шестикомнатной квартиры Насти Берестовой, по поводу сокрушительного гардероба которой выдвигала дочери сокрушительные же аргументы типа «зато в твоём распоряжении дедушкина библиотека, одна из лучших в Москве!». Она сидела, опухшая, полоумная, с онемевшей спиной, сидела почему-то на полу, вцепившись взглядом в телефон, жизнь почти истекла из нее, как эта ночь, и неуклюжий, многократно переполосованный изолентой аппарат был единственным каналом, по которому старая, совсем старая женщина с сухим морщинистым ртом еще осуществляла витальные связи. Олег, примчавшийся глубокой ночью, кое-как отбредавшись дома вызовом в больницу, не выдержал, уснул с широко открытым ртом, опрокинувшись на диван и свесив ноги.

— А? Что ты? — заполошно вскинулся, когда грянула, едва не развалившись, сволочная машина Эдисона.

— Ликуся... — С хриплым спекшимся заклятием мать пала на мембрану — жрицей и жертвой одновременно.

— Тетя Нина! Тетя Нина, это Настя, извините, не разбудила?

— Где! Где?! — кричала и не слушала, захлебывалась и выныривала, и снова уходила под воду разбитая вдребезги Нина, будто рожала, тужась понять, — барабанные перепонки, а также легкие разрывались от непосильного голоса, от бредней этой гадкой, о, сомневаться не приходится, рас-

тленной, вот именно, потаскушки, безмозглой ку-
клы, на которую теперь была вся надежда.

— На какую дачу, Настя, гадкая ты девочка, на
какую еще дачу, зачем, с кем, где у вас мозги, вер-
нее, совесть, где Лиза, где эта дача, где твои роди-
тели?!

Олег взял трубку и выяснил, что обе мерзавки
забурились к какой-то однокласснице на дачу и
вечером в темноте побоялись возвращаться, а те-
лефона нет, и вот Настя уже дома, а Лиза едет.

Я ее убью. Убью дрянь бессовестную. Нина,
Нинуля, все живы-здоровы... Не обижайся, мне
надо на работу. Никто не обижается. Просто нет —
сил — жить. Жить сил практически не осталось,
доктор.

— Сколько же тебе все-таки лет? И кто ты та-
кая? Может, у тебя с крышей не все в порядке,
а? — Гарри крепко обхватил затылок бессовестной
дряни ладонью и заставил повернуть голову. Гла-
за как глаза. Мокрые, перепуганные, похоже, бли-
зорукие. Глупые, опухшие. — Не придурок ты,
беби, нет? — Вот же нашел приключение...

Телефон у Насти, как известно, молчал. С по-
мощью Гарри подружка отыскалась на Масловке,
у своего Рафаэля. «Валите к нам, — дружелюбно
мычал в эфир гуляка Рафаэль, заставляя Гарри
вспомнить, вообрази, без ностальгии, московскую
молодость и ночные анфилады кухонь, кухонь, ку-
хонь, в тараканьем лице которых эти козлы опла-
кивают утраченную «романтику».

309

З А Й Ц Е В А



Гарри провел Лизу (Эллу) мимо спящей дежурной, мимо бессонного портье, мимо камуфляжа, погруженного в свинцовую медитацию... Словно путь из ада, только нет нужды оглядываться, потому что — вот она, Эвридика, плечом к плечу, крепко схваченная за локоть, да и век бы ее не видеть. У выхода перед ними вырос корректный господин в сером комсомольском лавсане и на неплохом английском уведомил, что правилами отеля предусмотрено пребывание гостей в номере до срока, повсеместно на нашей территории признанного сакральным, — до одиннадцати. Все постояльцы имеют возможность быть ознакомленными с инструкцией о порядке пребывания в отеле и должны следовать ему without exclusion, сэр. Сэр! Разумеется, американский бизнесмен Гарри Мур, вот его визитная карточка, осведомлен об этой испытанной веками и отлично зарекомендовавшей себя традиции российских отелей! Однако он удивлен по меньшей мере несвоевременным, чтобы не сказать бестактным напоминанием.

Поскольку сейчас даже по нью-йоркскому времени всего лишь десять часов вечера, а он, предприниматель Гарри Мур, пожалуйста, фирма «Мобил телефоун ин корпорейтед», уже неделю как живет по кремлевским курантам! Менеджер московского отделения фирмы мисс Смит (позвольте, дарлинг, вашу карточку, благодарю вас), мисс Смит — дисциплинированный сотрудник, ее рабочий день начинается в семь утра, и она любезно согласилась по пути в офис завезти коллеге кое-какие бумаги. Надеюсь, сэр, теперь все в порядке,

другими словами — о'кей? Ах, экскьюз ми, я, кажется, не представился: Гарри Мур, к вашим услугам, на всякий случай — моя визитка: телефон офиса на Манхэттене и домашний, тоже там недалеко, Двадцать восьмая улица, угол Амстердам-авеню, о'кей?

Погребенный под лавиной визитных карточек, зоркий сокол гостиничной безопасности осунулся на глазах, пискнул: «Данке, геноссе» — и толкнул перед товарищами дверь.

— Спасибо, офицер, — подытожил по-русски Гарри Мур, и вот они на весенней улице, примерно напротив сливочных ворот в утопию, в мифологическое царство дружбы и неворованного изобилия, над которым гордо реет неутомимый бык-производитель с каменными крутыми яйцами, овеванными свежим ветром соцреализма и навек опаленными огнем гарантии, что я, Батурин, Нина Акулина, Гарри Мур, биолог Свирина и скромный мастер резекций Олег, не говоря уже о Елизавете и тем более Анастасии, что означает, кстати говоря, «бессмертная», — будут жить при коммунизме.

В своем безумном наряде, оплывшая от слез, ранним утром на фоне откормленных достижений народного хозяйства Лиза стояла такая дерзновенно несуразная, что раздражение Гарри растаяло и русская жалость тихонько потрогала его за сизое жесткое сердце. Практически искренне он прошелестел в маленькое ухо: «Спасибо за вечер, бэби Эл, я буду думать о мисс Смит. Иногда». И поцеловал в ладошку.

311

З Д Й Ц Е В А



— А у меня сегодня, вы знаете, день рождения... — вспомнила вдруг Лиза.

«Способная крошка, сориентировалась!» — восхитился Гарри. Нет, господа, не одолеть вам страну, столь крепкую б...ской психологией даже в среде чистейших отроковиц... Он похлопал себя по карманам:

— День рождения — это серьезно... На-ка вот, здесь сто долларов, выбери себе что-нибудь на память от моего имени, о'кей?

— Ничего не о'кей! — Лиза страшно, до самого скальпа, заалела, принялась неуклюже отпихивать деньги. — Я не могу, неудобно же, правда!

Воспитание, даже самое дикое, вынуждает порой российских барышень из служащей интеллигенции вести себя в соответствии с гордой и обидчивой моралью *self-made woman*, что выглядит часто непоследовательно и даже глупо, но не портит их милого облика.

Бумажка, однако, ловко скользнула в кармачик шахматной куртки и притаилась там, словно ее и не было. Щедрый Гарри был доволен и собой, и Лизой, что помогла ему так изящно выйти из положения и не изменить правилу расплачиваться с женщиной — попадая с ней даже в самые пикантные обстоятельства. Оставалось так же, не теряя лица, провести процедуру прощания — и жизнь, в сущности, нормализуется в рамках формулы «не-в-чем-себя-упрекнуть», что не на шутку заботило корректнейшего предпринимателя Джи Ай Мура с 28-й стрит, угол Амстердам-авеню.

— Ты извини, не могу тебя проводить, у меня сегодня важная встреча, надо прийти в себя... — И Гарри, что интересно, не врал, как не врал уже почти целое утро! Встреча ему предстояла, что и говорить, неординарная, было для чего поработать над реакциями, попотеть на тренажере.

Головная машина из вереницы у подъезда подползла к ним, и Лиза робко забилась в угол заднего сиденья, сжимая в кулаке прощальную десятку — впервые в жизни одна в такси.

— Новые б...ди в космосе? — произнес шофер пугающую своей загадочностью фразу и гневно усмехнулся в зеркальце.

Не учтя кавычки, Лиза представила себе черную бездну, где несутся друг за другом длинноногие раскрашенные ведьмы, и бледные волосы стоят над их головами магниевым столбом. Репортажный оптимизм вопроса противоречил непонятной угрозе, таившейся в ухмылке таксиста, и Лиза, сжавшись в своем углу в точку, едва смогла вымолвить:

— В смысле — как?..

— В смысле так, что здесь, в «Космосе» башляешь — так отстегнула, давай, порядка не знаешь, новенькая, что ль? Вроде Стас тебя не показывал... Э! — Водила резко вдруг заложил к бровке и стал. — Да тут у нас партизанят некоторые... Точно? У наших девчонок клиентуру перебиваешь, а? Так? Колись, колись! — ласково и страшно пел водила, и Лиза от ужаса не унимала и даже не замечала слез.

— Я выйду... — шепнула она. — Можно?

313

З А Й Ц Е В А



— Только осторожно, — ухнул таксист и схватил ее за руку. — Выйдет она, ага. А бабки? Спасибо скажи, что не сдал куда следует. Ну! — зорал вдруг. — Платить, короче, будем или глазки строить?!

Дура-а-ак!! — заблажила Лизка в голос, бросила в жуткую морду мятый червонец, рванулась вон, зацепилась за высокий волжский порожек и приникла к тротуару, как Антей, во всю свою роскошную лайковую длину. Адская колесница с поборником территориального кодекса на борту взревела и канула в пробуждающейся преисподней.

А Нина бросалась на каждый вой лифта, редкий в этот час, к двери, и отпирала, и застывала в проеме, свесив бесполезные руки. Но вой стихал этажом ниже: возвращая семье Виталика Вовнобая, сумасшедшего программиста, иссякшего в наслаждениях виртуальных игр. Или уносился вверх — сгружалась Валька Бочкина, известная дому путана.

«Убью, — планировала Нина, улавливая безмятежный стук утренних каблучков. — Никогда, никогда больше не буду на нее кричать, бедный мой кролик, только вернись поскорее... Только вернись, потаскушка, тварь такая — что я с тобой сделаю, даже не знаю, что я сделаю с тобой!»

— Мамочка! Мама, это я. Мамочка, але! — но не было сил отвечать. — Ты чего молчишь, мам, ты слышишь меня?

— Прекрасно слышу. Не ори.

— Мам, ну не обижайся! Мам! Знаешь, я не добралась до дому...

— Я заметила.

— Нет, ну послушай, тут троллейбус сломался по дороге, слышишь? И я уже не успевала доехать, ты слышишь меня, мам? Я пойду прямо в школу, о'кей?

— О — что?

— Ма, ну ладно тебе! Так я в школу, хорошо?

Нина положила трубку. Лиза положила себе еще карбоната и красной рыбы из запасов, которыми Палыч снабжал Настю в отсутствие родителей. Настя шорты положила на полку, сапоги — в коробку на шкаф и куртку положила на место — в пакет и в чемодан. Никита Гарусов положил под подушку забытый Настей в спешке лифчик, который она иногда надевала для солидности, и, наконец, уснул. Свинина положила под язык таблетку валидола и принялась яростно ее сосать, готовясь к титанической битве идеологий. Олег вместе с двумя хирургами, анестезиологом и не захотевшей ломать компанию пожилой операционной сестрой с фронтовым партийным стажем положили — вот только что — партбилеты и заявили о своем выходе из рядов. А предприниматель Гарри Мур положил себе вернуть сегодня на фирму машину (пыльно-зеленую «феррари») и покататься остаток дня на метро: освоиться некоторым образом с рекой той жизни, в которую он намерен вступить вновь, не изучив нового брода и даже не допуская на своей Амстердам-авеню мысли, что привычный брод может изменить профиль, химический состав — ну и вообще исчезнуть.

315

З А Й Ц Е В А



А не мешало бы, между прочим, сообразить, глядя, как хорошеет в целом столица!

Когда Лиза вернулась из школы, еще стоял белый день, но квартира была щедро иллюминирована, а прихожая завалена свертками и сумками. Мать открыла ей возбужденная, с блестящими глазами, причесанная и даже выкрашенная в новый соломенный цвет. Новые зеленые серьги качались под челюстью, как маятники. Короткое болотного цвета платье — незнакомое — высоко открывало сохранные еще ноги в черных колготках.

— Чё это ты? — опешила Лиза.

— А что такое? — засмеялась мать. — У моей дочери сегодня день рождения, и по такому поводу она даже соизволила прийти домой!

Нина исполнила пируэт и затрубила в рупор из ладоней:

— Здравствуйте, товарищи учащиеся десятых классов! Па-здравляю вас...

— Мама! — крикнула Лиза. — Ты чего, совсем уже?

Нина ладонями стиснула дочке щеки и крепко поцеловала в крылья носа — раз и два. Лиза сморщилась: от мамули шибало крепким градусом — хотя кто бы говорил...

— Ладно, — успокоилась внезапно Нина. — Пошалили. А теперь сюрприз типа «смертельный номер». Вы тут, девушка, давеча интересовались вашим папашей? «Родным отцом», как вы изволили выразиться. Давай, знакомься, кролик. Легок на помине.

— Кто? — Лиза обалдело улыбалась, не зная, как реагировать на кромешный какой-то материн балаган. — Мам... кончай свои приколы... Не смешно... — но сама уже пролезла бочком в комнату и видела, как кто-то медленно отделяется от окна, а за окном катится вниз и влево солнце, и на ярком просвете просматривается только черный силуэт. Но вот мужчина миновал солнечный сноп и неуверенно, неловко пошел на Лизу, как слепой, протянув вперед руки. И вздрогнула Лиза, отступила, и вскрикнула, и дернулась убежать. Но мужчина с растрепавшейся проседью, с порьжелыми усами, похожий на одного писателя, кумира маминых ровесников, удержал ее за плечи, и все пытался заглянуть в зажмуренные да плюс защищенные линзами — такие предосторожности — глазки, и все повторял:

— Лиза, дружочек, Лизочка моя...

— Ну же, Лизочка-дружочек, — глумилась Нина Акулина, мать-одиночка, едва не умершая от ожидания, — взгляни же на папочку: вот он, собственной персоной, Муромский Григорий Иудович.

Стыдись, Нина Акулина, экие плоскости ты себе позволяешь, возможно, спьяну! Ну хорошо, хорошо, Иванович, что это меняет...

Я опасался вообще-то, что мне, как и моему учителю, придется просить читателей избавить меня от излишней обязанности описывать развязку. Но ничего страшного, ничего особенного не произошло. Григорий Иваныч оглядел очкастую девочку с длинной толстой косой, перекинутой на плосковатую грудь, погладил рукава тесного форменного платья и молвил растроганно:

317

З Д И Ц Е В Д



— Какая большая... Невозможно... Никогда бы не поверил...

Вот и вся история — смысла в ней немного, так, баловство одно. Настина мама, правда, была приятно удивлена, когда, надев новую куртку, обнаружила в кармане стодолларовую бумажку. И, как могла, немедленно потрафила Настиному папе. А назавтра — на всякий случай — и Пальчу: побыстрому, пока Настена якобы в школе.

Конец повестям М. Зайцева

С о д е р ж а н и е

7

ХОЛЕРА. *Роман*

167

ПОВЕСТИ ЗАЙЦЕВА. *Повести*

174

ЗЕМЕЛЬ

207

РАБ БОЖИИ

233

КОЛОДА № 6

258

ДОМ КОЛХОЗНИКА

284

АХ, ШАРАБАК МОИ АМЕРИКАНКА!

Литературно-художественное издание

Для возрастной категории 16+

Боссарт Алла Борисовна

ХОЛЕРА

Роман, повести

Ответственный редактор *Д.О. Хвостова*

Художественный редактор *Е.Ю. Шурлапова*

Технический редактор *Н.В. Травкина*

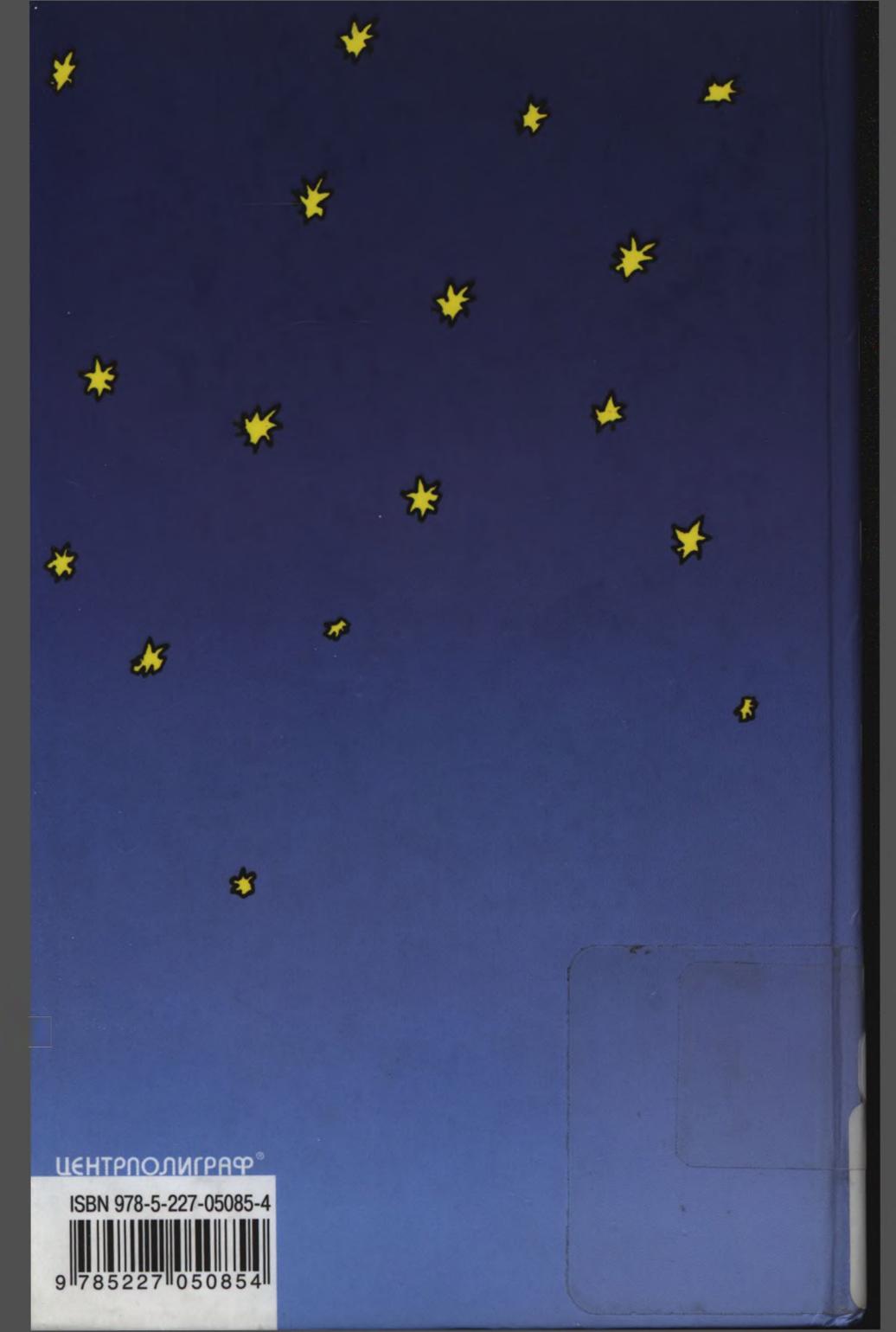
Корректор *А.В. Максименко*

Подписано в печать 20.12.2013.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 11,96.
Тираж 2 500 экз. Заказ № 5177.

ЗАО «Издательство Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@CNPOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр. Ленина, 5



ЦЕНТРОЛИГРАФ®

ISBN 978-5-227-05085-4



9 785227 050854